

НОС КЛЕОПАТРЫ ИЛИ ВЛАСТЬ СЛУЧАЙНОСТИ

Главное достоинство пророка — хорошая память

Маркиз Галифакс

ПРЕДИСЛОВИЕ

«Будь нос Клеопатры короче, — размышлял Паскаль, — весь облик мира оказался бы иным». Стоит нам присмотреться к переломным моментам истории, и становится ясно, какую огромную роль в них играют случайность и, казалось бы, пустяк. Мы без труда допускаем, что личное обаяние и человеческие слабости Цезаря, королевы Елизаветы, Наполеона, Дизраэли, Гитлера, Сталина, Рузвельта и Кеннеди влияли на ход событий. И всё же нам трудно поверить, что будущее окажется столь же щедрым на неожиданности, каким было прошлое. Даже внезапный и никем не предсказанный крах советской империи не сделал нас осторожнее: мы по-прежнему самоуверенно берёмся предсказывать судьбу демократии и мира.

Эти эссе, написанные в последние годы, посвящены неожиданным новшествам и удивительной живучести старого в нашем недавнем прошлом. Как получилось, что техника, открывая перед нами новые горизонты знания, одновременно породила новые области незнания — и дала нашей эпохе право называться временем «отрицательных открытий»? Почему страна, прославившаяся прежде всего материальными успехами, вдруг оказалась захвачена новым интересом к внутреннему миру человека, к совести? Каким образом печатный станок сделал возможной нашу Конституцию? И как технологии Нового Света помогли возвести Капитолий в классическом стиле — под чугунным куполом? Яркий контраст между Америкой Токвиля и Россией Кюстина подсказывает, почему история может претендовать на роль науки-предостережения.

Четвёртое царство — царство машин, в котором мы живём, — показывает, как часто надежды, воспитанные в нас наукой,

оборачивались разочарованием. Как примириться с тем, что человеку необходимо и то, без чего, казалось бы, вполне можно обойтись? Как жить с углубляющимися парадоксами науки в эпоху, когда всё большей политической силой становится здравый смысл?

Все эти сюжеты — из разных времён и стран, но прежде всего из американского опыта — в конце концов сводятся к одной теме: к опасности пророчеств. Хотя наш американский оптимизм, пожалуй, предпочёл бы назвать это иначе — **радостью неожиданного.**

1. ПРЕДЕЛЫ ОТКРЫТИЙ

*На этот щедро одарённый век, в его тревожный час,
с небес обрушивается метеорный дождь
фактов... Они лежат россыпью —
неосмысленные, не связанные друг с другом.
Каждый день рождается достаточно мудрости,
чтобы исцелить нас от наших недугов,
но нет ещё ткацкого станка,
способного сплести её в единое полотно...*

— Эдна Сент-Винсент Миллей, *Huntsman, What Quarry?*

1. ЭПОХА ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ОТКРЫТИЙ

Когда лет сорок назад Альберта Эйнштейна спросили, каким образом на Западе вообще возникла идея научного открытия, он ответил просто: «Развитие западной науки, — объяснил он, — зиждется на двух великих достижениях: создании греческими философами формальной логической системы — евклидовой геометрии — и открытии, сделанном в эпоху Возрождения, что причинные связи можно устанавливать посредством систематического эксперимента. На мой взгляд, удивляться следует не тому, что китайские мудрецы не сделали этих шагов. Удивительно другое: что эти открытия вообще были сделаны». Эйнштейн, несомненно, был прав, видя в научном открытии одно из установлений западной культуры. Однако его, как всегда, лаконичное объяснение не учитывает поразительных перемен, которые сама природа открытия претерпела в нашем столетии.

В каждую эпоху открытия не просто формируют — они **встряхиывают** сознание всего читающего общества. А с распространением грамотности и демократии сила этого воздействия многократно возросла. Самый известный пример — конечно же, Коперник (1473–1543) и его последователи, потрясшие западный мир открытием, что Земля больше не может считать себя центром мироздания. Позднее столь же глубокий след оставили биология Дарвина и психология Фрейда. Сегодня науки о космосе, сколь бы сложными, эзотерическими и узкоспециализированными они ни становились, по-прежнему властно воздействуют на представления всего общества.

Мы, неспециалисты, продолжаем тянуться к смыслу научных открытий, которые зачастую находятся далеко за пределами

нашего понимания. Нам нравится, когда они будоражат воображение. Чем иначе объяснить один из самых удивительных издательских феноменов последних лет? Небольшая, но отнюдь не лёгкая книга Стивена Хокинга *Краткая история времени: от Большого взрыва до чёрных дыр* (1988) попала в Книгу рекордов Гиннеса: ни одна книга не держалась столь долго — четыре года — в британском списке бестселлеров; было продано около пяти миллионов экземпляров. Мы давно знаем, сколь устойчив интерес широкой публики к увлекательным историям Жюль Верна и Герберта Уэллса, к обаятельному инопланетянину И. Т. и его собратьям, к фантастике Айзека Азимова и Артура Кларка, даже к более серьёзным сочинениям прежних лет — Джеймса Джинса и Артура Эддингтона — и к современным книгам Герберта Фридмана.

Никогда прежде публика не проявляла такого интереса к открытиям. Но в космических науках изменилась сама роль первооткрывателя — и это породило совершенно новые последствия для сознания таких неспециалистов, как я.

Героями нынешней эпохи космических открытий следует считать не привычных нам романтических титанов так называемой Великой эпохи географических открытий — Лейфа Эрикссона, Колумба, Кортеса, Магеллана или Дрейка. Подлинным прообразом современного первооткрывателя был гораздо более прозаический и куда менее романтизированный капитан Джеймс Кук (1728–1779). В летописях открытий Куку не воздали должного. Возможно, такова общая судьба тех, кто совершает **отрицательные открытия**. А Кук был, пожалуй, величайшим из них. Он вошёл в историю мореплавания тем, что доказал: легендарного Великого Южного материка **не существует**. Считалось, будто эта таинственная земля тянется от Антарктики к Юго-Восточной Азии, превращая Индийский

океан едва ли не в огромное внутреннее море. Мы склонны забывать — или недооценивать, — насколько трудно совершить отрицательное открытие. Ведь гораздо проще наткнуться на неизвестный остров или даже на неожиданный материк, чем доказать, что нечто, веками существовавшее в человеческом воображении, в действительности не существует. Чтобы нанести на карту новую землю или новый пролив, достаточно было туда добраться — и осчастливить мир известием о том, что обнаружено нечто новое.

Но доказать отсутствие чего-либо — даже если забыть о том, что логики объявляли подобное доказательство теоретически невозможным, — предприятие изнурительное. Для этого приходится исследовать одну за другой и отвергнуть **все мыслимые возможности**.

К тому же отрицательному открытию радуются куда меньше, чем обычному, утвердительному. Люди не любят, когда их воображение лишают обстановки. Легендарная Южная земля, которую Кук стёр с карты, представлялась прекрасным будущим владением империи, неисчислимо богатым природными сокровищами. И могла оставаться таким чудесным краем — пока её никто не находил.

Доказать, что Великой Южной земли нет, значило не только разрушить прекрасную иллюзию. Ради этого пришлось совершить одно из самых страшных морских путешествий в истории. Кук вышел из Англии в июле 1772 года и вернулся лишь в июле 1775-го. На двух недавно построенных угольных судах из Уитби — *Resolution* водоизмещением 462 тонны и *Adventure* в 340 тонн — он обогнул мыс Доброй Надежды, достиг 71°10' южной широты, прошёл вдоль самых южных окраин Тихого океана через антарктические воды, затем вышел в Атлантику, вновь достиг мыса Доброй Надежды и оттуда вернулся в Англию. То не было плавание по безветренным водам Саргассова моря.

Корабли шли по самому краю антарктических льдов, под угрозой нависающих над ними ледяных Альп — грохочущих, трескающихся и рушащихся айсбергов.

Инструкции, полученные Куком, предусматривали обе возможности: материк мог существовать, а мог и не существовать. Если бы Кук обнаружил хотя бы часть его, Адмиралтейство предписывало обследовать новую землю, объявить её владением Британии и раздать местным жителям медали. Офицерам и команде было приказано хранить путешествие в строжайшей тайне, а по возвращении все судовые журналы и дневники подлежали изъятию. За время этого одного из величайших — и, несомненно, одного из самых долгих — путешествий в истории открытий Кук прошёл свыше семидесяти тысяч миль. Никогда прежде столь продолжительное плавание не предпринималось ради одной-единственной исследовательской цели. Не ради колонии. Не ради Эльдорадо. Не ради золота, серебра или драгоценных камней. Не ради рабов.

Своё прежнее плавание на Таити — тоже выдающееся достижение мореходного искусства — Кук совершил ради астрономических наблюдений прохождения Венеры по диску Солнца 3 июня 1769 года. Теперь же великолепный успех экспедиции *Resolution* и *Adventure* стал торжествующим свидетельством мужества нового, скептического духа. Антарктика была пугающе непохожа на Арктику, о которой европейцы всё-таки имели некоторое представление. Незведанный антарктический мир — царство вечных горных льдов, совершенно немыслимое для жителей умеренных широт Европы, — был идеальной почвой для самых необузданных умозрительных фантазий. Само путешествие Кука впоследствии отзовется мрачной аллегорией в *Сказании о старом мореходе Кольриджа*.

Чтобы покончить с древними легендами и домыслами, требовались особая отвага и особая страсть к открытию — именно те качества, которыми впоследствии будет отмечена наша эпоха отрицательных открытий. Эту страсть и мужество Кука, его команды, натуралистов и искусных астрономов великолепно выразил простой житейской мудростью Джош Биллингс (1818–1885): **«Дураком человека делает не то, чего он не знает, а то, что он знает наверняка — да только это неправда».**

Во всей судьбе Кука была своя прекрасная символика. Самоучка, в молодости он отказался от возможности командовать кораблём и предпочёл поступить простым матросом-добровольцем в британский флот — чтобы лучше узнать море. Он быстро продвигался по службе, стал штурманом и ещё до падения Квебека произвёл съёмку реки Святого Лаврентия. Практический, экспериментаторский склад ума проявился и в его отношении к усовершенствованным хронометрам Гаррисона и Кендалла: Кук одним из первых доказал их ценность для навигации. Он охотно учился и новым способам борьбы с цингой — бичом дальних морских плаваний того времени. Современников поразило, что после трёхлетнего путешествия *Resolution* вернулся домой, не потеряв от цинги ни одного человека. Кук боролся с болезнью строгой чистотой на корабле и экспериментами с питанием — апельсинами, лимонами и их соком, квашеной капустой, луком и различной зеленью, которую удавалось находить по пути. Именно этот здравый практицизм, эта живая восприимчивость к новым методам будут отличать великих мастеров отрицательного открытия в последующие столетия.

История западной науки подтверждает старую истину: **главная угроза прогрессу — не незнание, а иллюзия знания.** И вот почему я считаю капитана Кука прообразом современного

героя открытия. Тот, кто совершает отрицательное открытие, — исторический разрушитель иллюзий. Возможно, нашу эпоху и в самом деле следует назвать **эпохой отрицательных открытий**. Особенно отчётливо эта черта современной науки проявляется в наших последних попытках описать Вселенную. Марк Дэвис, профессор астрономии и физики Калифорнийского университета в Беркли, дал нам удобное резюме. Вот шесть главных итогов четырёхсотлетнего развития космологии:

Земля не является центром Вселенной.

Солнце не является центром Вселенной.

Наша галактика не является центром Вселенной.

Тот вид материи, из которого состоим мы, не является главным веществом Вселенной — преобладает тёмная материя.

Наша Вселенная — видимая и невидимая — возможно, не единственная.

Наша физика — возможно, тоже не единственная физика.

Могут существовать отдельные вселенные с совершенно иными законами природы.

Моя жена Рут, человек поэтического склада, замечательно определила подобную картину мира: возможно, мы вступили в **Эпоху Гордиевых «не»**.

К этим современным представлениям о пространстве прибавился столь же современный взгляд на время. В сегодняшнем меню возможностей специалисты предлагают нам по меньшей мере три космологические модели.

Теория стационарной Вселенной: Вселенная существует

бесконечно долго; материя непрерывно возникает во все времена.

Большой взрыв: возраст Вселенной конечен; по мере её расширения материя и энергия сохраняются.

Вечно инфляционная модель Большого взрыва: наша Вселенная имеет конечный возраст. Вся её материя и энергия возникли в конце

инфляционной фазы, когда невероятная плотность энергии ложного вакуума преобразовалась в обычную материю и излучение.

Все три возможности — указатели, направленные в **terra incognita**. В совокупности эти положения образуют то, что профессор Дэвис называет **современным мифом о сотворении мира**. Он остроумно сводит его к следующей картине: «вся наблюдаемая нами Вселенная — и невообразимо далёкие пространства за её пределами — возникла из одной крошечной флуктуации вакуума с нулевым содержанием энергии в невероятно ранний момент... вся наша Вселенная в самом буквальном смысле возникла из ничего».

И вместо того чтобы погрузиться в тяжеловесные богословские следствия этой мысли, Дэвис — совершенно в духе нашего времени — завершает словами Алана Гута, которые трудно забыть: **«Вселенная — это, в конечном счёте, бесплатный обед»**. Но каким образом мы пришли к столь огромному и соблазнительному расширению **terra incognita**, вобравшей теперь в себя всю Вселенную — и наше место в ней? Сам профессор Дэвис лаконично характеризует триумфы современной западной науки как эксперименты в области космологии. Но я хотел бы предположить, что эти достижения — не просто плоды труда отдельных смелых учёных. Они стали побочным результатом огромных культурных и институциональных перемен последнего столетия — процессов, которые всё ускоряются и, по всей вероятности, будут ускоряться и впредь. Если сказать совсем просто, причиной стала развитая технология, вторгшаяся в сам процесс научного открытия, — появление **механизированного наблюдателя**. И последствия этого переворота огромны. Он бесконечно расширяет

пространство отрицательного открытия, потому что меняет само соотношение **данных и смысла**.

До эпохи механизированного наблюдателя смысл обычно обгонял данные. Современная тенденция — прямо противоположная: **теперь данные обгоняют смысл**. Не случайно небеса — область, недоступная непосредственному человеческому опыту, — издавна считались царством богов. Неисследованный мир небес, изобиловавший мифами и легендами, представлялся исполненным особого значения для земной жизни. Вплоть до XIX века сведения о внеземном пространстве проходили через своеобразный фильтр — интересы и возможности человеческого наблюдателя. Телескоп и микроскоп, разумеется, расширили, углубили и усилили возможности человеческого зрения. Но это всё ещё были лишь **инструменты**, продолжения органов чувств человека.

Машина — совсем другое дело. Это устройство, которое приводится в действие силами, находящимися вне человеческого тела, и доставляет сведения, недоступные человеку, вооружённому лишь собственными чувствами. И вот здесь возникает принципиально новый момент. Первооткрыватель больше не просто стоит лицом к лицу с природой, воспринимая то, что доступно человеку. **Человек создаёт машины. А машины создают данные.**

Перед нами возникают бесконечно расширяющиеся пространства, которые ещё предстоит исследовать. Каждый новый наблюдательный прибор приносит новое отрицательное открытие — и открывает перед нами прежде неведомые области собственного незнания.

Некоторые характерные черты этого нового мира особенно ярко проявились в полёте *Voyager 2* — одной из наиболее впечатляющих и успешных попыток выйти за пределы Солнечной системы.

Научный журналист Стивен С. Холл оставил замечательное свидетельство того, что происходило в девять часов вечера 19 августа 1989 года, когда группа из двенадцати специалистов — своего рода «постмодернистских кормчих» — собралась на втором этаже корпуса № 264 Лаборатории реактивного движения NASA в предгорьях Сан-Габриэль близ Пасадены, штат Калифорния.

Voyager 2 находился в пути уже двенадцать лет и до того момента безупречно выполнил задачу, пролетев мимо Юпитера, Сатурна и Урана. Всего через пять дней, по словам Холла, ему предстояло «едва не задеть кроны деревьев Нептуна и промчаться мимо Тритона». Специалисты собрались, чтобы согласовать радиокоманду, корректирующую положение руля аппарата, находившегося в 2,7 миллиарда миль от Земли, и обеспечить его выход точно к назначенной цели. На стене висела карта Солнечной системы, показывавшая точку, где Нептун, мчащийся вокруг Солнца со скоростью 12 тысяч миль в час, должен был встретиться с *Voyager 2*, двигавшимся примерно со скоростью 61 тысячи миль в час.

Рядом висела табличка: **МЫ ЗАНИМАЕМСЯ ВЫСОКОТОЧНЫМИ ДОГАДКАМИ.**

Обычная карта Солнечной системы была у всех перед глазами. А настоящая навигационная карта *Voyager 2* оставалась невидимой — внутри компьютеров, непрерывно пересчитываясь по мере продвижения аппарата.

Компьютеры Лаборатории реактивного движения сообщали, что в 359 000 году *Voyager 2* окажется на расстоянии одного светового года от Сириуса — Собачьей звезды.

Тем временем его реальные достижения уже поражали воображение.

Утром 25 августа 1989 года аппарат передал изображения Тритона. За двенадцать лет *Voyager 2* преодолел около 4 429 508

700 миль и теперь дистанционно выводился к назначенной цели. Он прибыл на пять минут раньше срока, рассчитанного за много лет до этого, — и всего на 0,6 секунды позже времени, указанного в самом последнем прогнозе.

Научным итогом его путешествия стали примерно **пять триллионов битов информации**.

Путь к этой Вселенной механизированного наблюдателя — миру *Pioneer 10* и *11*, *Voyager 1* и *2* — был открыт гораздо раньше, когда фотографию впервые применили в астрономии.

Механизация телескопа позволила наводить его на заданный объект, а фотографические пластинки, экспонируемые часами, многократно усиливали возможности человеческого глаза, постепенно накапливая изображения слабых объектов и их спектров.

К 1949 году телескоп Хейла — знаменитое «Большое око» американской астрономии — следовал за звёздами с помощью двигателя мощностью всего в одну двенадцатую лошадиной силы.

Астрономам больше не приходилось доказывать свою преданность науке, ночь за ночью сидя в горах на морозе в костюмах с электрическим подогревом и не отрывая глаз от окуляра.

И всё же прежде такое терпение приносило плоды.

Отважные наблюдатели вроде Милтона Хьюмасаона, сотрудника Эдвина Хаббла, почти двадцать восемь лет регистрировали спектры далёких галактик, измеряя их красное смещение.

Чтобы получить необходимые данные, Хьюмасаон сначала должен был обнаружить среди звёзд слабое туманное пятнышко, затем точно вывести его изображение на узкую щель спектрографа и удерживать там всю ночь. Пластинку следовало

уберечь от бесполезного дневного света, а следующей ночью всё повторить заново.

Но именно эти мучительно добытые сведения о красном смещении, природе и числе галактик, необходимые для определения постоянной Хаббла, буквально **взорвали наши прежние представления о Вселенной**.

Всего столетие назад, в 1889 году, новый спектрогелиограф молодого Джорджа Эллери Хейла открыл невиданные прежде возможности исследования Солнца — новые сведения и новую методику, которую вскоре можно было распространить на всё небо.

Усовершенствования Роберта Х. Макмата обнаружили прежде неизвестный мир солнечных спикул.

И это было лишь одним из множества входов в новые области нашего незнания — в то, что Герберт Фридман, один из пионеров ракетной астрономии, справедливо назвал **Невидимой Вселенной**.

Видимая Вселенная имеет пределы.

Невидимая — по самой своей природе беспредельна.

А вместе с нею беспредельны и области отрицательного открытия: радиоастрономия, инфракрасное излучение, ультрафиолет, рентгеновская астрономия, гамма-лучи, загадочные нейтрино — и бесчисленные новые миры, которым ещё даже не придуманы названия.

В эту эпоху отрицательного открытия — эпоху механизированного наблюдателя, машинных данных и всё новых их разновидностей — возникает ещё одна сила, которую нельзя не заметить: **инерция движения**.

Нам давно знакома инерция знания — древнее и опасное стремление знания порождать всё новое знание, символически воплощённое в библейской притче о плоде познания и изгнании из Эдема.

Но теперь собственная инерция появилась и у машины.

Эту движущую силу технологии механизированного наблюдения прекрасно иллюстрирует доклад Национального исследовательского совета США, подготовленный в 1991 году Комитетом по обзору астрономии и астрофизики. Документ предлагал программу и систему приоритетов для **«Десятилетия открытий 1990-х годов»**.

В докладе рекомендовалось и дальше поддерживать крупнейшие обсерватории и увеличить финансирование индивидуальных исследовательских грантов. Однако основная часть рекомендаций, предварявшая раздел «Научные возможности», отдавала предпочтение «наземной инфраструктуре» и четырём крупным «инструментальным программам».

Первое место занимал Космический инфракрасный телескоп — SIRTf, который должен был стать «почти в тысячу раз чувствительнее наземных телескопов, работающих в инфракрасном диапазоне. Передовые матрицы инфракрасных детекторов позволят SIRTf картографировать сложные области и измерять спектры в миллион раз быстрее любого другого космического инфракрасного телескопа».

Эта программа должна была опираться на «техническое наследие» двух успешных миссий *Explorer*.

Следом, чтобы «использовать десятилетний прогресс в технологии изготовления крупных зеркал», предлагалось построить на Мауна-Кеа, Гавайи, американский восьмиметровый телескоп, оптимизированный для инфракрасных наблюдений, — «уникальный и мощный инструмент для изучения происхождения, структуры и эволюции планет, звёзд и галактик».

Далее следовал проект Миллиметрового массива — ММА, комплекса телескопов миллиметрового диапазона, способного

получать изображения с высоким пространственным разрешением областей звездообразования и далёких галактик с бурным рождением звёзд. Благодаря ему «впервые станут отчётливо видны целые новые классы объектов».

Но это было лишь начало списка.

Далее следовали шесть «программ среднего масштаба», девять «примерных малых программ» и ещё девять космических инициатив.

Общая предполагаемая стоимость на десятилетие — **3 миллиарда 23 миллиона долларов.**

Инерцию технологии открытий ещё больше ускоряют два новых метода — адаптивная оптика и интерферометрия, которая «обещает пространственное разрешение лучше одной тысячной угловой секунды за счёт объединения сигналов телескопов, расположенных на большом расстоянии друг от друга».

Всё это стало бы дальнейшим развитием уже существующего грандиозного комплекса Very Large Array.

Предлагались также усовершенствованные приборы для обнаружения нейтрино и «тёмной материи» — всё ещё настолько загадочной, что её поневоле приходится брать в кавычки.

Но особенно поражает заключительное предложение доклада:

«Главное преимущество Луны как площадки для космической астрономии состоит в том, что она представляет собой огромное твёрдое основание, на котором можно строить широко разнесённые конструкции — например интерферометры».

Не означает ли это, что весь Солнечный мир постепенно превращается для нас просто в удобную строительную площадку для новых интерферометров, направленных во Вселенную?

На протяжении большей части истории Запада **толкование** **намного опережало факты.**

И человек испытывал почти непреодолимое искушение не замечать или преуменьшать значение тех данных, которые угрожали привычным и привлекательным объяснениям мира.

Хорошо известен пример учёных богословского склада времён Галилея — около 1610 года, — не желавших признавать существование солнечных пятен, впервые обнаруженных его телескопом.

Некоторые из самых уважаемых учёных мужей просто отказывались смотреть в столь дьявольское устройство: ведь оно дерзало противоречить прекрасному аристотелевскому представлению о Солнце как воплощении незапятнанного огня — и даже намекало на несовершенство творения Божьего.

Выдающийся аристотелик Чезаре Кремонини заявил, что не станет тратить время на галилееву штуковину лишь для того, чтобы увидеть то, «чего никто, кроме Галилея, не видел... да к тому же от этих стёкол у меня болит голова».

Другие утешали себя тем, что устройство Галилея, возможно, и правильно показывает земные предметы, где его показания можно проверить опытом, однако «на небе оно нас обманывает — ведь некоторые неподвижные звёзды в нём видны двойными».

Отец Клавий, профессор математики Римской коллегии, смеялся над четырьмя спутниками Юпитера Галилея и уверял, что и сам сможет получить такой же результат — дайте ему только немного времени, чтобы вставить нужные изображения в стёкла.

Но даже сам Галилей, не всегда готовый позволить новым фактам разрушить знакомый смысл, признавался: увидев в телескоп увеличенный предмет, он снова и снова подходил к

самому предмету, чтобы удостовериться, что прибор его не обманул.

Пока средства открытия оставались всего лишь орудиями — продолжением человеческих органов чувств, — результаты наблюдений могли удивлять или даже потрясать, но всё же оставались мыслимыми и постижимыми.

Понадобились столетия, чтобы птолемеевская астрономия уступила место коперниканской, но сам спор оставался понятным даже неспециалисту.

В худшем случае затруднения возникали там, где открытие противоречило здравому смыслу.

Например, оказалось, что тяжёлые тела падают вовсе не быстрее лёгких.

Или что твёрдая, неподвижная на вид земля под нашими ногами на самом деле непрерывно вращается.

Именно это открытие породило легендарную драматическую реплику Галилея, который, как рассказывают, топнул ногой и произнёс: «И всё-таки она вертится!» — *Eppure, si muove!*

Но развитие машин открытия позволило наблюдать то, на что человеческое тело без помощи техники попросту неспособно.

Теперь объём новых данных определялся уже не человеком, а возможностями машин — фотографии, спектрографии, ракетной и радиоастрономии и их бесчисленных наследников.

Механизированный наблюдатель больше не был ограничен воображением человека, припавшего глазом к телескопу. Он собирал всё, что постоянно умножающаяся техника могла увидеть, измерить или записать.

О бесконечной новизне открывающихся миров свидетельствует хотя бы непрерывно растущий словарь науки,

за которым едва поспевают даже лучшие энциклопедические словари.

Сегодня едва ли не каждый отчёт о новых открытиях приходится снабжать собственным глоссарием терминов и сокращений.

Даже небольшой доклад Национального исследовательского совета *Десятилетие открытий*, о котором я уже говорил, содержит десятистраничный словарь.

Каждый новый термин — словно знак того, что перед нами только что открылась **ещё одна область нашего незнания**.

Хороший пример — прибор Роберта Н. Макмата, позволивший вести замедленную киносъёмку Солнца в свете водорода. Именно благодаря ему мы впервые увидели солнечные спикеры — и вместе с новым образом Солнца получили множество новых вопросов о фотосфере, хромосфере и солнечной короне. Позднее эти вопросы ещё умножились благодаря рентгеновским и ультрафиолетовым данным ракетной астрономии.

Инерция изобретения и непрерывно множась технологии накапливает данные с такой скоростью и в таких формах, которые диктуют уже сами машины.

Этот всё ускоряющийся поток приносит нам бесчисленные **ответы на вопросы, которых ещё никто не задал**.

И тем самым перед первооткрывателем возникает всё более сложная задача.

Теперь он уже не просто ищет ответы на привычные вопросы и не требует, чтобы скудные факты непременно сообщили ему утешительный космический смысл.

Нет — он сам мучительно соблазняет себя новыми машинами, которые порождают новые вопросы посреди неизведанных океанов стремительно растущих данных.

Если машина уже существует — или её возможно создать, — она непременно должна быть привлечена к добыче данных.

Нас не слишком тревожит — быть может, куда меньше, чем следовало бы, — мысль о том, что Галилеи XX века могут быть обмануты сведениями собственных машин.

Напротив, мы приветствуем каждого, кто задаёт вопрос, прежде не приходивший никому в голову, каждого, кто делает ещё один шаг в сторону отрицательного открытия.

Разумеется, механизированный наблюдатель способен производить несравненно больше данных, чем человек.

Электронная съёмка оказалась примерно в двести раз чувствительнее фотопластинок 1940-х годов, применявшихся на телескопе Хейла.

Новые способы использования кремниевых микросхем повысили эффективность телескопов ещё примерно в десять раз, а кремниевые «пиксели» дали цифровые данные с динамическим диапазоном в миллион единиц — против всего 10–100 у фотографической эмульсии.

К 1978 году прибор с зарядовой связью — CCD — вновь многократно увеличил объём астрономических данных.

Одно астрономическое изображение, полученное CCD, занимало около половины мегабайта — примерно полмиллиона знаков.

За одну ночь наблюдений накапливалось информации на семьдесят пять дискет, что вскоре заставило использовать тысячи магнитных лент.

А лазерные диски, каждый из которых мог хранить тысячу мегабайт информации, конечно же, не решали проблему **смысла**, но заметно облегчали астрономам возможность обогащать — или обременять — себя всё более удобными способами хранения ежедневно растущих масс данных.

Так слово «**астрономический**» приобрело новый метафорический смысл — более наглядный и более устрашающий, чем когда-либо прежде.

Возможно, как неспециалист, я недостаточно благодарен за все сокровища данных, которыми одарила нас современная технология открытия.

Каждый новый байт — ещё одна крупница сырья, из которой какой-нибудь учёный сможет создать более точное описание того, чем в действительности является Вселенная, новую гипотезу о её происхождении — и о её конце.

Но даже самые эзотерические научные идеи, как бы искажённо они ни доходили до нас, всё равно каким-то образом проникают в сознание добросовестного образованного неспециалиста, к числу которых я отношу и себя.

Пусть мы не способны постичь смысл специальной и общей теории относительности Эйнштейна или все следствия квантовой механики — у нас всё же остаётся некоторое общее представление о том, **куда указывают современные первооткрыватели.**

Некоторые черты нынешнего мира открытий, возможно, даже сильнее поражают неспециалиста, чем учёного, который живёт среди них ежедневно.

Пусть физикам космоса и космологам пока ещё не удалось создать удовлетворительную **Великую объединённую теорию** — Grand Unified Theory, GUT, — зато, во всяком случае на взгляд стороннего наблюдателя, они уже создали целую Вселенную **Великих объединённых данных**, которая расширяется со всё большей скоростью.

Никогда прежде исследователи космоса не сводили воедино столь множество фундаментальных вопросов: о бесконечно малом и бесконечно большом, о самом первом начале и самом

последнем конце, о связи происходящего сегодня со всем прошлым и всем будущим.

Они превратили астрономию в историческую науку.

А физику — в космологию.

Но что всё это сделало с нами — с обществом неспециалистов?

Ещё в 1611 году встревоженный голос Джона Донна (1572?–1631) жаловался, что новые идеи Коперника уже «прокрадываются в сознание каждого» — и что они «вполне могут оказаться истинными»:

Новая философия всё ставит под сомнение,
Погас огонь стихий; исчезло Солнце,
Исчезла и Земля — и разум человеческий
Уже не знает, где искать их след.

И люди признают: сей мир изжил себя,
Когда среди планет и в тверди небосвода
Всё новые миры находят — и глядят,
Как этот вновь распался на атомы свои.

Всё рассыпалось. Связей больше нет,
Ни стройности, ни меры, ни отношений...
И в этих созвездиях восходят
Новые звёзды, а былые меркнут перед нами...

Если одно только изгнание Земли из центра Солнечной системы так потрясло мыслящего человека XVII века, что же должно произойти с нами сегодня, когда мы узнали, что **вся наша Солнечная система, весь Млечный Путь, вся наша галактика, вся наша Вселенная — лишь ничтожная окраина среди бесчисленных миллиардов других миров?**

Джона Донна тревожило то, что прежние ответы перестали быть истинными.

Современная наука давно привила нас от веры в **вечность любого ответа.**

Возможно, мы уже не столько *Homo sapiens*, сколько *Homo ludens* — человек играющий, резвящийся среди звёздных полей.

Возможно, мы научились наслаждаться — как предлагает маленькая книга Стивена Хокинга — расширяющейся Вселенной **всё новых и новых вопросов.**

Быть может, современный мир открытий — это уже не царство ответов.

Это царство вопросов.

И мы понемногу учимся чувствовать себя в нём как дома — и даже получать удовольствие.

Быть может, современный первооткрыватель вообще уже не «открыватель».

Он — **искатель.**

И живёт он в эпоху отрицательных открытий, где достижения измеряются не окончательностью найденных ответов, а **плодотворностью поставленных вопросов.**

Так будем же искать вместе.

Как заметил великий французский физиолог Клод Бернар (1813–1878):

«Искусство — это Я. Наука — это Мы».

А общую нашу задачу в эпоху отрицательных открытий можно выразить и другими, куда менее изысканными, чем у Джона Донна, но всем знакомыми словами:

Я	по	лестнице	шагал	—
Человека				повстречал.
Человека	вовсе	не	было.	
И	сегодня		снова	нет.
Ах,	когда		же	наконец
Он	исчезнет	насовсем?		

Этот маленький человечек, которого будто бы нет, этот крошечный вопрос, который нам никогда прежде не приходил в

голову, станет постоянным — и всегда соблазняющим — спутником наших общих поисков.

2. КУЛЬТУРА ГОРДОСТИ И БЛАГОГОВЕНИЯ

Многое из того, чем мы сегодня наслаждаемся и восхищаемся, лежало за пределами поля зрения первооткрывателя даже в те времена, когда человеческая страсть к открытиям достигала своего высшего накала. В нашу эпоху, когда человек склонен чрезмерно гордиться своей властью над физическим миром, взгляд на достижения человека-творца способен восстановить равновесие в наших представлениях о человеческой природе — и послужить противовесом от соблазна науки.

И в науке, и в искусстве европейская эпоха Великих географических открытий — от Марко Поло до Магеллана — была временем поразительных свершений. Она изумляет нас и открытиями, и творениями, внушая одновременно гордость и благоговение. Но привычные торжества по случаю пятисотлетия путешествия Колумба слишком легко превращаются в праздник одной лишь гордости — гордости человека, осмелившегося бросить вызов неизвестному, расширить свои знания и власть над миром.

Наша Национальная галерея и другие великие художественные собрания напоминают, что подобное празднование отражало бы лишь одну сторону человеческой тяги к неизведанному. Ни тогда, ни теперь человек не мог жить одной наукой. И, пожалуй, ни одно поколение не испытывало столь сильного искушения упиваться могуществом науки, как наше.

Великие художественные музеи помогают увидеть, насколько различны — хотя порой и дополняют друг друга — **культура открытия** и **культура творчества**.

Труд первооткрывателя нередко прозаичен: наносить на карту, измерять, вычислять, продолжать уже намеченные линии — определять, куда человек успел добраться. Но чтобы передать восторг открытия, нужен художник или поэт.

Понадобился Китс, чтобы напомнить нам о том «диком изумлении», которое охватывает

...наблюдателя небес,
когда в предел его зрения wpłyвает новая планета;
или могучего Кортеса, когда орлиным взором
он впервые увидел Тихий океан...
бездолжно стоя на вершине в Дарьене.

Но огромные океаны незнания — бесконечные пространства человеческого творчества — оставались европейцам эпохи Великих открытий совершенно неведомы.

Жизнь и дело Колумба стали своего рода аллегорией культуры открытия — международной, совместной, поступательно развивающейся. Генуэзец Колумб искал покровительства у нескольких государей, прежде чем позволил Фердинанду и Изабелле привлечь себя к их двору. Карты, на которые он опирался, восходили к трудам еврейских картографов по меньшей мере столетней давности, а ещё раньше — к александрийцу Птолемию.

Его путешествия были выдающимися подвигами организации и руководства: ему приходилось удерживать экипажи вместе и поддерживать их дух перед лицом угрозы мятежа. Чтобы убедить советников Изабеллы, Колумб ссылался на лучшие рукописи и печатные книги своего времени.

Как ни ограничены были его сведения — и как много среди них оказалось заблуждений, благодаря которым само

путешествие стало казаться осуществимым, — через океан его повело всё же **общее научное знание эпохи**, накопленное многими поколениями.

Другие великие путешествия эпохи открытий также были плодом сотрудничества. Они тоже опирались на международное сообщество знаний и профессионального опыта.

В 1498 году Васко да Гама, возможно, не сумел бы обогнуть Африку и достичь Индии, тем самым доказав ошибочность птолемеевских карт, изображавших Индийский океан замкнутым морем, если бы в Малинди ему не удалось нанять арабского лоцмана. Тот двадцать три дня вёл его флот через опасные воды Аравийского моря к Каликуту.

Непрославленным крёстным отцом и вдохновителем всех этих плаваний был португальский принц Генрих Мореплаватель — человек весьма оседлый и сам не слишком склонный к морским странствиям. Тем не менее именно он прокладывал пути будущих экспедиций и вдохновлял европейских моряков.

Даже для конструкции своих знаменитых каравелл Генрих черпал идеи из арабских *caravos*, издавна ходивших у берегов Египта и Туниса и, в свою очередь, восходивших к древнегреческим рыбацким судам.

Печатный станок, появившийся в Европе всего за несколько десятилетий до плавания Колумба, стал беспрецедентным источником распространения знания. Информация — а вместе с ней и заблуждения — хлынула туда, где прежде люди довольствовались едва заметной струйкой.

Географическое знание, плод открытия, стало драгоценной международной валютой. Все жаждали обладать им; его легко было украсть и выгодно было скрывать. Любое новое сведение об удобном проходе или опасном берегу можно было присоединить к чужим знаниям в общей погоне за золотом и славой.

Строгая секретность, окружавшая результаты открытий, вероятно, стоила жизни не одному болтливому моряку. Португальская «политика» секретности сама была настолько секретной, что некоторые исследователи даже отрицали её существование. С другой стороны, современные защитники приоритета Португалии в открытии Америки умудрялись обращать само отсутствие документов в доказательство того, что португальские открытия были слишком ценны, чтобы ими делиться.

Но в конечном счёте тайна не могла устоять.

Открытие — эта область науки — по самой своей природе было **совместным и накопительным** делом. Общая европейская сокровищница географических знаний неизбежно становилась международной.

Когда в 1468 году умер Гутенберг, Колумбу было семнадцать лет. Теперь печатные книги — сами по себе одно из могущественных порождений эпохи открытий — сделали знания текучими, подвижными, почти неуловимыми для национальных границ.

Языковые барьеры, которые усилились с переходом от латыни к народным языкам молодых наций, могли оказаться серьёзнее рек и гор. Но и их вскоре начала преодолевать расцветавшая культура перевода. Народные языки сами превращались в широкие потоки обмена.

Несмотря на все препятствия, известие о первом путешествии Колумба молниеносно разошлось по Европе. Его «письмо», в котором он описывал то, чего, как ему казалось, он достиг, было написано по-испански и напечатано в Барселоне около 1 апреля 1493 года. Уже к концу того же месяца появился латинский перевод — *De Insulis Inventis* — и был издан в Риме.

До конца года в Риме вышли ещё три издания. На следующий год шесть различных латинских версий появились в Париже,

Базеле и Антверпене. Вскоре был выполнен немецкий перевод, а к середине июня 1493 года латинское письмо превратили в поэму из 68 строф и опубликовали на тосканском наречии Флоренции.

Альдинская типография в Венеции и множество других издательств Европы процветали, распространяя знание.

Открытие было, несомненно, наукой прогресса.

Как добавить свою крупицу нового знания к накопленному другими — в бесконечной борьбе против незнания?

Во многих отношениях эпоха Колумба была временем подъёма и зрелости науки. Картография — своего рода пранаука путешественников — стремительно развивалась.

Птолемей всё ещё оставался покровителем астрономии и географии. Но уже к 1459 году карта мира, созданная фра Мауро в его мастерской близ Венеции для короля Португалии, исправила птолемеевскую картину, согласно которой из Европы невозможно было морем попасть в Индийский океан. На ней впервые на европейской карте появилась Япония.

Карта мира Вальдземюллера 1507 года впервые дала Новому Свету имя «**Америка**», а его новое издание *Географии* Птолемея впоследствии стали считать первым современным атласом.

В XV столетии рождался совершенно новый способ смотреть на Землю.

На смену легендарным и богословским картам, помещавшим Иерусалим в центр мира, приходила Земля, которую **измеряли**.

Картографы теперь предлагали мореплавателям не легенды, а расчёты.

Портолан — морская лоция, получившая развитие благодаря широкому применению магнитного компаса, — стремился дать точные карты ограниченных участков. Сначала такие карты помогали средиземноморским мореходам ориентироваться

вдоль берегов, а затем их начали составлять и для западных побережий Европы и Африки.

Знаменитый Каталонский атлас 1375 года, необычайно декоративный по современным меркам, стал памятником нового эмпирического духа.

Созданный примерно через четверть века после возвращения Никколо, Маффео и Марко Поло, он первым продемонстрировал влияние сведений, принесённых их путешествиями, и впервые дал европейцам относительно достоверное представление о Восточной Азии.

Не менее замечательно то, **чего в нём не было.**

Картограф осмелился отказаться от мифических и предположительных сведений, которыми христианские столетия густо заселяли карты. Проявив впечатляющую сдержанность, он оставил часть Земли просто пустой — подобно портоланам, сообщавшим лишь то, что действительно помогало достичь известного пункта назначения.

Обширные пространства, прежде населённые людоедами и фантастическими чудовищами, теперь оставались незаполненными — в ожидании сообщений трезвомыслящих морских капитанов.

И наконец географическое пространство стало подчиняться холодной геометрии широты и долготы.

Ещё до 1501 года, в эпоху инкунабул, когда книгопечатание только выходило из колыбели, появилось семь фолиантных изданий классической *Географии* Птолемея. Она наконец была переведена с греческого и непрерывно исправлялась по последним сообщениям путешественников.

Возвращённый миру Птолемей дал географам каркас, на который можно было нанизывать всё новые крупницы открытий.

Совершенствовались и инструменты мореплавателей.

Ранние исламские астролябии стали образцами для изящных астролябий Мартина Былицы и Альфануса Северуса конца XV века.

По ним видно, насколько далеко мастера ушли от простого деревянного диска на кольце, известного ещё древним.

Этот один из старейших научных инструментов изначально использовался для наблюдения и определения положения небесных тел. Теперь же астролябия превратилась в навигационный прибор, достаточно точный, чтобы помогать морякам определять широту.

В последующие столетия её вытеснят квадрант и секстант.

В 1484 году Мартин Бехайм, как считается, первым приспособил астролябию непосредственно к нуждам навигации. Сегодня, однако, его чаще вспоминают благодаря созданному им в Нюрнберге земному глобусу — замечательному скорее красотой, нежели сходством с действительным миром.

В этом грандиозном всемирном предприятии открытия все учёные, путешественники и мореходы — желая того или нет, осознанно или невольно — сотрудничали друг с другом.

Сотрудничество было одновременно необходимым, желанным и опасным.

Все понимали: конечная цель у них одна — всё более точная карта Земли.

И усилия приносили плоды.

Европейские знатоки мира знали о нём в 1550 году несравненно больше, чем в 1450-м.

Европейское «открытие» Америки не просто дало цивилизации новые земли. Оно расширило и заново определило европейское представление **обо всей Земле**.

Какие бы бедствия ни принесли народам Запада феодализм, рыцарство и Крестовые походы, новые столетия неизменно давали всё более точные карты и всё лучшие приборы, позволявшие будущим картам быть ещё точнее.

И всё же унаследованные «факты» обладали достоинством и престижем, из-за которых расстаться с ними было нелегко.

Они служили основой не только мифов и преданий, но также коммерческих надежд и политических амбиций.

Заменить старое географическое знание новым всегда было болезненно — и часто встречало сопротивление.

Колумбу трудно было отказаться от убеждения, что на берегах Карибского моря он увидел Земной рай.

Когда Веспуччи показал, что эти порождения древней мечты на самом деле являются никем прежде невообразимыми материками, он потряс учёную Европу — но одновременно укрепил её гордость достижениями собственной «современной» науки.

Сообщения о языческих жертвоприношениях в храмах и пиршествах каннибалов, подкреплённые привезёнными жертвенными ножами, ещё больше убеждали европейцев в собственном превосходстве над язычниками.

Но величайшим открытием эпохи открытий стало другое:

Европа вдруг поняла, как мало ей известно о Земле.

Никогда прежде перед человеком столь внезапно не открывались такие огромные пространства собственного незнания.

Повсюду первооткрыватели смотрели на один и тот же предмет — на физическую, осязаемую Землю, общую для всех.

Они низводили неизвестное на землю.

Все двигались в одном направлении.

Птолемей шёл по следам Аристотеля, Веспуччи — по следам Птолемея.

Открытие укрепляло веру в человеческое сотрудничество и человеческий прогресс. Оно питало чувство нового рождения, охватившее Европу в эпоху Возрождения.

В эту блистательную эпоху путешествий европейский человек впервые в полную силу ощутил свои научные мускулы.

Когда ещё было столько оснований гордиться человеческими возможностями?

И способностью открывать всё новые пространства собственного незнания?

Эпоха «около 1492 года» стала мощным подкреплением веры человека в способность подчинить себе ветер и волну, найти — а затем покорить — **terra incognita**.

Но последовательное наступление на неизвестное — лишь один из видов человеческой деятельности.

То, что прославляют наши художественные галереи, принадлежит иной сфере — **культуре творчества**.

Счастливое совпадение состоит в том, что эпохальная для Европы эпоха открытий была одновременно эпохальной эпохой творчества. И сегодня это даёт нам редкую возможность сопоставить две культуры.

Ренессансная вера во вдохновенного, неповторимого творца возвысила художника, вооружённого заново открытой наукой перспективы, из ремесленника в художника в современном смысле слова.

Ему уже не платили по часам, как другим квалифицированным работникам. Он постепенно освобождался от цеховых традиций.

Теперь сами короли и папы искали художника, предоставляя ему свободу задумать и воплотить собственное видение.

Нельзя позволять поверхностным насмешкам над «филистерством учёных» заслонить от нас настоящую пропасть между этими двумя культурами.

Огромный мир искусства, который европейцам эпохи Колумба оставался почти полностью неизвестным, напоминает

нам о пределах питающей человеческую гордость культуры открытия.

Народы, соперничающие и сотрудничающие в поиске знания, неизбежно **сходятся**.

Открытие — это то, что люди повсюду обнаруживают на одной и той же Земле.

Творчество — то, что они **добавляют** к миру.

Его отличительный признак — самостоятельность, свобода создавать то, чего прежде не существовало.

Разумеется, в искусстве есть традиции, стили и школы. Но каждый акт творчества остаётся своего рода личной декларацией независимости.

Поэтому история искусства бесконечно запутаннее истории науки.

Культура творчества состоит из бесчисленных сообществ художников, каждый из которых дерзает быть **сообществом из одного человека**.

Именно многообразие, рассеянность, даже хаос порождают искусство.

В эпоху Колумба художники Португалии, Испании, Генуи и Венеции дают нам лишь отдельные проблески пёстрой европейской культуры творчества.

Но насколько иными были произведения художников на другом конце света!

В Японии — тончайшая кисть Сэсю (1419–1506), маски и керамика необычайно плодотворной эпохи Муромати.

В Китае — монументальная живопись императорских дворцов Мин.

В Индии и Тибете — скульптуры процветавших буддийских традиций.

Эти многочисленные миры искусства складываются перед нами в калейдоскоп образов и стилей: африканская бронза и

резьба по слоновой кости, бразильские украшения из перьев, каменные изображения миссисипской культуры, ацтекские кодексы, золотые изделия Коста-Рики и Колумбии.

Если эта пестрота, почти целиком скрытая от европейских современников Колумба, озадачивает и поражает нас, то именно потому, что теперь мы начинаем различать особую природу двух культур — открытия и творчества.

И можем исправить близорукость нашей гордости открытиями.

Мы начинаем понимать пределы тех форм человеческой самореализации, которые господствуют в сознании научной эпохи.

Культура открытия была невидимым сообществом, объединённым общей страстью поиска и сосредоточенным на одном предмете — на Земле, которую следовало измерить и нанести на карту, на ветрах и океанских течениях, которые следовало подчинить; она собирала и соединяла крупницы знания, поступающие со всего мира.

Культура творчества, напротив, представляла собой множество независимых одиночек.

Их ограничивали лишь унаследованные стили и доступные материалы.

Каждый стремился к собственной цели.

Эти разнородные и хаотические миры должны не столько питать нашу гордость за некое абстрактное «человечество», сколько внушать благоговение перед бесконечными возможностями **отдельной человеческой личности.**

Перед нами открывается поразительное, иногда почти ошеломляющее многообразие.

Нельзя не удивляться тому, насколько разрозненны и несвязаны между собой способы, которыми люди в разных уголках мира пытались выразить себя.

Утончённые маски театра Но резко контрастируют с монументальной дворцовой живописью художников эпохи Мин и массивной округлостью ацтекской скульптуры.

Бессмысленно пытаться выстроить их в одну линию.

Это, несомненно, не прогресс.

Это — **бесконечное разнообразие**.

В этом плодотворном хаосе мы видим отдельных художников — и всё человечество, — движущихся одновременно во всех направлениях.

Каждый художник словно заново **изобретает самого художника**.

И если удивительно неизбежное сотрудничество первооткрывателей, то не менее удивительна неповторимость творцов.

Конечно, иногда традиции сходятся или соперничают, и художники учатся друг у друга — как японец Сэссю учился у мастеров минского Китая, а Дюрер — у итальянских живописцев Венеции.

Но в таком случае происходит нечто гораздо большее, чем перевод.

Каждый из них **преображает** своих предшественников.

Первооткрыватели маршируют — или по крайней мере стараются маршировать — под одну мелодию.

Мир творцов не рассказывает нам столь простой истории.

Каждый художник — сам себе компас.

Он не находит направление.

Он его **создаёт**.

Как случайны и рассеяны были человеческие творческие усилия в эпоху, когда властители Западной Европы как никогда прежде соревновались друг с другом за общую валюту открытия!

Творения — странные плоды расходящихся во все стороны воображений.

Васко да Гама, вероятно, не достиг бы Индии без арабского морехода.

Но в мастерской Леонардо да Винчи не было арабского наставника или ученика, без которого не возникли бы его картины.

Старые карты уступали место новым. Компас самого Колумба был усовершенствованной моделью прежних приборов. Его путешествие очень скоро превзошли новые мореходы.

Со временем будут превзойдены и анатомические, и физические познания Леонардо и Дюрера.

Но «**Джиневра де Бенчи**» Леонардо и «**Рыцарь, смерть и дьявол**» Дюрера никогда не устареют.

Узоры Китая эпохи Мин и каменная кладка инков остаются драгоценными оригиналами.

Учебник может выстроить карты в ясную линию прогресса: от Птолемея и средневековых карт типа Т-О — к планисфере фра Мауро, карте Вальдземюллера, портоланному атласу Баттисты Аньезе — и далее, без конца, в будущее.

В культуре творчества нет «правильно» и «неправильно».

И в конечном счёте нет **прогресса**.

Произведения искусства не образуют прямой линии. Они расходятся лучами во все стороны.

Карты мира после Колумба делают своих предшественников устаревшими.

Произведения искусства лишь прибавляются друг к другу.

Они дарят нам радость новизны и прибавления — без боли от необходимости что-либо вычёркивать.

Искусство доколумбовой Америки только выигрывает от того, что мы способны сопоставить его с искусством последующих эпох.

Две культуры различаются и той ролью, которую отводят личности.

Как ни странно, открытие, хотя оно и является плодом сотрудничества, раздаёт свои исторические награды прежде всего за **личное первенство**.

В первом открытии есть что-то окончательное и исключаящее других.

Пусть великие открытия — в том числе открытие Колумба — плод коллективных усилий, слава почему-то достаётся именно «первооткрывателю».

У Колумба не должно быть соперника.

Города и страны носят его имя, а историки продолжают спорить о притязаниях португальцев; одни требуют лавров для Лейфа Эрикссона, другие — для ирландского святого Брендана.

Лавры, доставшиеся одному, автоматически отняты у всех остальных.

История открытий словно состоит из одних **«кто был первым»**.

Культура творчества не знает столь простых превосходных степеней и абсолютов.

Искусство прославляет уникальное и оригинальное, но неповторимость даже величайшего художника обычно складывается из мельчайших различий.

Разница между произведениями Пьеро делла Франческа и Леонардо да Винчи может состоять из едва заметных деталей — но вместе они дают нам двух совершенно разных мастеров.

Их работы легко различить.

А одно из удовольствий историка искусства состоит именно в том, что вопросы «кто первый?» и «кто лучший?» здесь почти не имеют значения.

Мы можем говорить о «школе» Леонардо или Дюрера — и приписывание картины ученику вместо мастера способно уменьшить её рыночную ценность.

Но мы не говорим о «школе Колумба», «школе Коперника» или «школе Магеллана».

Культура творчества изобилует небольшими вариациями, почти совпадениями и тончайшими отличиями.

Культура открытия требует назвать победителя, получившего **первый приз**.

Поэтому мир первооткрывателей живёт по законам своеобразной звёздной системы: каждый новый кумир вытесняет героев предыдущего поколения, заранее обречённый в своё время уступить следующему.

Но художники-герои — Леонардо или Дюрер — никогда не сходят со сцены.

Великие цивилизации создают собственные особые достижения и открытия, и творчества.

И каждая обладает своей обширной областью, где эти две культуры пересекаются.

Технология — незаконнорождённое дитя двух культур — использует плоды прежних открытий для неожиданных будущих творений.

Но технология может вводить нас в заблуждение, внушая иллюзию, будто в искусстве существует прогресс, а открытия науки каким-то образом способны сделаться бессмертными — перестать уступать место новым.

Переносимые, долговечные и доступные изделия ремесленников особенно сильно формируют наши популярные представления о чужих цивилизациях.

Нас восхищает мастерство фламандских ткачей, португальских серебряных дел мастеров, испанских керамистов, турецких оружейников, колумбийских ювелиров; создателей китайского лака и корейского фарфора.

Но любое достижение ремесленника становилось возможным благодаря более раннему открытию свойств шерсти, серебра, нефрита, бронзы, стали или стекла.

Скульпторы и живописцы могли достигнуть своих высот лишь после открытия особых свойств мрамора, темперы или масляной краски.

Культуры творчества и открытия встречаются здесь в плодотворном пограничье.

Европейская эпоха Великих путешествий стала временем поразительных достижений в трёх гибридных искусствах — **картографии, перспективе и анатомии.**

За эти годы европейская картография, вероятно, продвинулась дальше, чем за всё предшествующее тысячелетие.

Даже когда путешественники, столкнувшись с настоящей Землёй, перестали удовлетворяться богословскими симметриями и мифологическими украшениями карт, они всё ещё ожидали, что карта останется красивым предметом.

Привыкшие к стерильным схематическим картам современных газет, мы особенно способны оценить изящество исламского небесного глобуса 1275 года или фантастических верблюдов, слонов, жирафов, султанов и императоров, всё ещё украшающих Каталонский атлас 1375 года, а также многоруких чудищ и уродцев *Нюрнбергской хроники* 1493 года.

Перед нами наука, превращённая в гобелен — изображение устройства мироздания или видений астронома.

Навигационные инструменты — глобус и астролыбия — достигают филигранной изысканности, способной соперничать с серебряной церковной утварью и сосудами королевского стола.

В эпоху открытий слово «**перспектива**», которое в Средние века означало прежде всего науку зрения — оптику, — стало названием заново открытого искусства древности.

С ним пришёл эпохальный прогресс в способности человека передавать пространство на бумаге и холсте — убедительно превращать трёхмерный мир в двумерное изображение.

Плоды этого нового открытия видны в исследованиях Уччелло, трактатах и произведениях Пьеро делла Франческа, в восхитительно идеализированных проектах итальянских городов.

Сам Дюрер счёл нужным показать, как рисовальщик может пользоваться новым приспособлением для построения перспективы.

То, что Джотто делал почти по наитию, у Леонардо и Дюрера стало наукой.

Слово «**анатомия**», первоначально означавшее просто рассечение, в эпоху открытий стало обозначать науку о строении тела.

Леонардо и Дюрер, оба пионеры анатомии, сделали её союзницей и служанкой живописи и скульптуры.

Леонардо использовал знания, полученные у анатомического стола, что видно в его рисунках сечений человеческой головы и женской мочеполовой системы.

Дюрер, склонный к математике, выстраивал своих Адама и Еву при помощи циркуля и линейки.

Художники особенно остро почувствовали потребность в анатомии, когда обнажённое человеческое тело стало одним из главных предметов ренессансного видения.

Редко в истории науки и искусства оба способа человеческого осуществления воплощались столь блистательно в одной личности, как в Леонардо да Винчи и Альбрехте Дюрере.

В нашу эпоху торжествующей науки мы чрезмерно гордимся поступательной силой открытия.

Знание по-прежнему остаётся самой драгоценной международной валютой.

Триумфы технологии тоже продолжают объединять мир — и на рынке, и на поле боя.

Наука и технология, а особенно технология, сглаживают различия между образами жизни людей по всему миру.

Фотография, телевидение, самолёт и компьютер стирают время и пространство.

Именно поэтому сегодня как никогда нам необходим противоположный импульс искусства — **тяга к разнообразию творчества.**

Продавцы уверяют нас, что каждая новая модель, каждое очередное «поколение» приборов непременно лучше прежнего.

Научно-исследовательские лаборатории уверенно и сознательно прокладывают курс будущего.

И мы, уставшие от статистических экстраполяций и непоколебимой уверенности рекламы, должны с благодарностью принять чудесную случайность и непредсказуемость искусства.

Здесь мы можем сойти с высокоскоростных рельсов прогресса — и войти в плодотворный хаос творчества.

Европейцы эпохи Великих открытий почти ничего не знали о произведениях большинства народов своего времени.

Так же и сегодня уверенные линии научного открытия ничего не способны рассказать нам о том спектре творений, который ещё только возникнет.

Неизвестные европейцам произведения всего мира, существовавшие в одну из величайших эпох европейского исследования Земли, напоминают нам о **по-прежнему огромных материках собственного незнания.**

Знание — движущаяся мишень.

Старые карты выбрасывают, заменяя новыми.

Но произведения искусства остаются на своём месте и продолжают жить новой, переливающейся множеством оттенков жизнью.

Каждое новое поколение учёных вытесняет труды предшественников. Более того, величие научной работы нередко измеряется тем, **сколько прежних трудов она сделала устаревшими.**

Художники ничего не отменяют.

Они лишь добавляют.

Они заново создают мир.

Позднейшие художники помогают нам вновь открывать прежних, как и сами они когда-нибудь обретут новое значение благодаря творениям тех, кто ещё даже не родился.

И если искусство способно внушать нам благоговение, оно одновременно предостерегает от самонадеянности, которую порождает всякая эпоха открытий — в том числе наша собственная: от мысли, будто, овладев ещё большей частью мира, мы когда-нибудь сумеем объять таинственную непредсказуемость человеческого духа — **человека-творца.**

3. СТРАННАЯ ПАРА: ПЕРВООТКРЫВАТЕЛИ И ИЗОБРЕТАТЕЛИ

Человека, как принято говорить, отличает способность изобретать. Но он не меньше способен и открывать. На протяжении большей части истории эти две стороны человеческой природы существовали почти независимо друг от друга. Открытие было повседневным опытом каждого: мы живём и учимся — а значит, непрерывно что-то открываем. Изобретения же случались редко.

Познавая мир, человек продвигался шаг за шагом: через пустыни — постепенно, вдоль берегов Африки — медленно, через Тихий океан — от острова к острову. Каждая эпоха добавляла собственные открытия к наследию, полученному от предков. История время от времени озарялась драмой великих открытий — пути Земли вокруг Солнца, морских путей вокруг земного шара, загадочных миров внутри атома, — но само открытие всегда оставалось процессом непрерывным и постепенным. То, что однажды было открыто — очертания материка, исток реки, строение атома, — редко удавалось забыть или надолго скрыть.

Совсем иначе обстояло с великими изобретениями, изменявшими мир. Таких эпох было немного. А бесчисленные небольшие усовершенствования, возникавшие на протяжении истории, почти не оставили следов в летописях. Речь и язык, письмо, колесо и парус, стремя и плуг — всё то, что знаменовало целые этапы становления цивилизации, — создавалось обычно безымянно, на протяжении неопределённых тысячелетий.

Когда для своей книги *Первооткрыватели* я выбирал величайших исследователей западной цивилизации, мне

неизбежно приходилось делать несправедливый выбор. Ведь любой шаг по опасной, едва намеченной тропе — первая покорённая вершина, найденный исток реки, пересечённая пустыня, нанесённый на карту остров — расширял границы человеческой жизни и человеческих возможностей.

И всё же историю великих волн западных открытий можно было рассказать, лишь изредка упоминая изобретения, изменившие мир. Это вновь напомнило мне, насколько долго первооткрыватели и изобретатели существовали в истории порознь.

Имена великих первооткрывателей знают все — от Демокрита и Аристотеля до Коперника, Галилея, Колумба, Пастера и Эйнштейна. Но назвать великих изобретателей далёкого прошлого способен разве что специалист по истории техники.

Даже время — исходное измерение самой истории — научились измерять благодаря приборам безымянных мастеров. Водяные часы, солнечные часы, маятник, механические часы, приборы моряков, позволявшие ориентироваться по Солнцу и звёздам, сделали возможными эпохальные открытия Колумба, Коперника и Галилея.

Но все эти простейшие средства измерения времени изобретались и совершенствовались столетиями. Нередко это были достижения целых сообществ. Люди договаривались, как определять время по солнечным часам, привыкали к бою городских часов или колокола на церковной башне; моряки делились опытом использования поперечного жезла и астрономических таблиц для более точного определения широты.

Имена тех, кто совершенствовал устройства для измерения времени, — Христиана Гюйгенса, Уильяма Клемента, Роберта Гука, Джона Гаррисона и других — появляются в наших

учебниках лишь в сравнительно позднюю эпоху. Между тем целые общества уже пользовались плодами развивающейся технологии: точнее назначали встречи, регулярнее совершали богослужения, получали выгоду от путешествий мореходов и тщательной работы картографов.

Кого благодарить за все эти удобства, мы уже никогда не узнаем.

История великих открытий устроена совершенно иначе. Она не безлична — напротив, она почти интимно связана с конкретными людьми.

Успех Колумба был плодом его дара убеждать, мужества, опыта, знания ветров и течений, организаторского таланта и упорства. У него был компас, он умел определять направление древними способами. Но его победа была прежде всего личной, а не технологической.

До него просто не нашлось человека, в котором соединились бы именно эти качества — и которому выпала бы именно такая возможность.

Поэтому, рассказывая историю великих первооткрывателей, мне потребовалось упомянуть лишь несколько решающих изобретений: часы, компас, печатный станок, телескоп и микроскоп.

Любопытно и другое — насколько различались места, где обычно трудились великие первооткрыватели и великие изобретатели.

И те и другие были людьми самого разного склада. Но всё же можно сказать: первооткрыватели — те, кто распахивал перед человечеством новые горизонты, — чаще работали под открытым небом.

Конечно, были исключения — Гален, Гарвей и другие. Но в целом первооткрыватель был человеком риска: он пересекал океаны, взбирался на горы, всматривался в небо.

Даже исследования древностей требовали отваги: приходилось вести раскопки среди подозрительно настроенных местных жителей — в руинах Микен и Трои, в гробнице Тутанхамона, в продуваемых ветрами пустынях Месопотамии.

Изобретатель, напротив, чаще был ремесленником.

Его миром служила душная мастерская, где он ковал оси, вытачивал зубцы колёс, шлифовал линзы и зеркала.

Если первооткрыватель обычно смотрел вдаль — к пространственному или историческому горизонту, — то изобретатель был почти близорук. Он сосредоточивался на малом, тщательно измерял детали, подгонял их одну к другой.

Изобретатель формировал то, что держал в руках.

Слабость одного заключалась в дальнорукости — он мог не замечать препятствий под ногами.

Слабость другого — в близорукости: он мог не видеть дальних перспектив.

До Нового времени это были два разных мира — с надеждами и устремлениями совершенно разного масштаба.

Великий первооткрыватель — Колумб — нуждался в покровительстве государей: только они могли оплатить экспедицию, защитить путешественников и результаты их открытий от неизвестных туземцев и враждебных соперников.

Великий изобретатель, напротив, чаще всего был ремесленником, спокойно работавшим в рамках своей гильдии.

Но затем произошла революция — почти не воспетая историками и, быть может, более фундаментальная, чем сама Промышленная революция.

Эти два мира соединились.

В Новое время авантюрист и ремесленник впервые вошли в единое сообщество ищущего человечества.

Начиная с XVIII века западный прогресс всё теснее смешивал и соединял их роли. Современный первооткрыватель

и современный изобретатель оказались связанными силами, которые не зависели от их воли, — в необъявленном и порой даже вынужденном союзе.

Характеры людей по-прежнему оставались разными. Но теперь изобретатель вышел из мастерской под открытое небо — на дно океана, на вершины, где почти нет кислорода.

А первооткрыватель, напротив, вошёл в неизведанные дебри лаборатории.

Начало этого нового, почти безграничного союза можно отнести к началу XVIII века.

Появилось и новое слово — **scientist**, «учёный», — обозначившее нового человека.

Удивительно, но первое зафиксированное употребление этого слова относится лишь к 1840 году. «Нам очень нужно название, — говорил блестящий английский философ и математик Уильям Уэвелл (1794–1866), — для человека, занимающегося наукой вообще. Я склонен назвать его Scientist».

Примерно тогда же преобразовывался и мир ремесленника. Слово **artist** стало обозначать «того, кто занимается ручным искусством, где есть значительное пространство для проявления вкуса; того, кто превращает ремесло в “изящное искусство”».

Когда изобретатель-ремесленник был принят в царство науки, его эстетическая роль как бы отделилась от него и перешла к мастерам изящных искусств.

Один дальновидный автор в *Blackwood's Magazine* в 1840 году выразил это так: «Леонардо по своему складу ума был искателем истины — учёным; Корреджо был утверждающим истину — художником».

Новое сообщество «людей, занимающихся наукой вообще», оказалось ещё более новым и революционным, чем предполагал Уэвелл.

Эту эпоху можно было бы назвать эпохой изобретений — подобно тому как XV век называют эпохой открытий. Но это было бы заблуждением, потому что тем самым мы сохранили бы различие, которое уже исчезало.

Новая эпоха принесла беспрецедентный симбиоз.

Среди немногих великих изобретений прежних веков одно особенно ярко символизировало этот новый союз мастера и искателя знания.

Это, конечно, было книгопечатание.

Гутенберг и его главный партнёр Фуст были всего лишь золотых дел мастерами, но именно они создали «искусство, сохраняющее все искусства».

Скромное изобретение — печать — превратилось в средство открытия для всего мира.

Отныне каждая эпоха могла унаследовать совокупный запас открытий человечества — и передать собственные открытия всем будущим поколениям.

Что могло лучше книгопечатания символизировать новый союз изобретателя и первооткрывателя?

Последующие столетия лишь укрепили этот союз.

Изменения человеческого опыта, вызванные современными изобретениями, чаще всего оказывались побочными последствиями.

Эти непреднамеренные, далеко распространяющиеся и затрагивающие каждого результаты стали возможны потому, что изобретатели освоили три новые области и взяли на себя три новые роли.

Они начали создавать новые материалы.

Создавать новые источники энергии.

И создавать новые средства, позволяющие людям делиться опытом.

Прозаические усовершенствования горного дела и металлургии времён Промышленной революции заслуживают гораздо большего уважения, чем им обычно уделяют историки.

Тысячелетиями алхимики пытались превращать простые металлы в золото.

Но новые способы добычи руды, новые технологии обработки железа — а затем превращения железа в сталь — оказались ценнее множества золотых приисков.

Железо и сталь позволили создать машины, добывающие уголь, необходимый для производства ещё большего количества железа и стали.

Они же стали скелетом машин массового производства.

Позднее бесчисленные новые пластмассы многократно расширили эти возможности.

Перед новаторами возникла даже новая, одновременно досадная и увлекательная задача — **придумывать названия веществам, которых Бог никогда не создавал**: от бакелита до нейлона.

Новизна паровой машины заключалась не столько в самой её мощности, сколько в дерзкой мысли о том, что человек способен **сам создавать и подчинять себе новые виды энергии**.

Ярким символом нового союза открытия и изобретения стал Бенджамин Франклин — с его электрическим воздушным змеем и громоотводом.

В одном опасном эксперименте он обнаружил новую силу.

Он показал также, что старые представления Старого Света о различных видах электрического магнетизма были иллюзией.

И тут же предложил человеку новое средство защиты, движения и освещения.

Мысль о существовании новых видов энергии перестала казаться столь фантастической с развитием электричества и появлением двигателя внутреннего сгорания.

Но самым невероятным оказалось открытие, что энергия, заключённая в «неразрушимом» атоме, способна приводить в движение заводы, преобразить войну, нарушить равновесие сил между государствами — и, возможно, даже расколоть планету.

Ежедневные новости всё нагляднее показывали, насколько устарело прежнее различие между ремесленником и авантюристом.

Весь мир превратился в лабораторию под открытым небом.

А мастерская учёного — в джунгли открытий.

Побочные последствия нового союза первооткрывателя и изобретателя было трудно предвидеть и ещё труднее контролировать.

Новые источники энергии — механической, химической, ядерной — порождали новые виды отходов.

Куда их девать?

А может быть, стоило попытаться изобрести для них новое применение?

Современные изобретения обрели ещё одну — гигантскую и довольно странную — силу.

Они уже не просто увеличивали человеческую способность создавать или совершенствовать привычные вещи: копать, резать, формовать, передвигать, строить, разрушать.

Они породили совершенно новые задачи — прежде всего новые способы **делиться опытом**.

Фотография и электроника научились ловить и распространять визуальный образ, человеческий голос, ощущения движения и присутствия.

Новые устройства сближали пространства и времена, возвращали движущиеся образы умерших, делали доступным невидимое и далёкое.

Сам того не заметив, изобретатель превратился в своеобразного импресарио — публичного первооткрывателя,

вооружённого фотоаппаратом, телефоном, фонографом, радио, кинокамерой, проектором, телевизором или видеомэгнитофоном.

Он стал человеком, который открывал и расширял миры для миллионов.

Новые технологии делали со всем человеческим опытом то, что книгопечатание когда-то сделало со знанием.

Паровой транспорт перевозил через океаны товары и людей.

Электричество продлило день и осветило ночь.

Паровая энергия помогла производить электричество, а электроника разнесла по миру информацию, идеи и изображения.

Мир превратился в **сообщество открывающих**.

Первопроходец, летящий к Луне в космической капсуле, входил теперь в каждую гостиную.

Даже робкие домоседы переживали вместе с ним опасные мгновения.

Целая страна могла одновременно чувствовать напряжение, надежду и страх великих предприятий — и в момент триумфа, когда человек ступал на Луну, и в момент катастрофы, когда взорвался *Challenger*.

Останутся ли после этого современные Улиссы, Колумбы и Магелланы героями?

Ведь **мы все были там**.

Новый союз стремления знать — открытия — и страсти создавать новое — изобретения — сделал почти невозможным пророчество о невозможном.

Мы начали утрачивать саму способность удивляться.

Новый лёгкий материал, новое топливо, новая конструкция самолёта — и звуковой барьер преодолен.

После Луны — Марс.

А после Марса?..

Есть ли предел возможностям будущих «поколений» компьютеров?

Разве самые авторитетные пророки невозможного — например Резерфорд, говоря об атоме, — не ошибались один за другим?

Каждое новое изобретение расширяло горизонт и тем самым умножало возможности для «человека, занимающегося наукой вообще».

Сценарии скептиков рушились.

Кассандры становились ненужными.

Одна за другой невозможные прежде открытия — например ощущение невесомой ходьбы по Луне — осуществлялись благодаря прежде невозможным изобретениям — компьютерным технологиям.

Слово **«невозможно»**, которое назидательные моралисты от Эпиктета до Уильяма Эрнеста Хенли и Редьярда Киплинга тщетно пытались изгнать из словаря молодого человека, теперь почти утратило смысл в новом сообществе изобретателей и первооткрывателей.

Неужели человек наконец получил право сказать:

«Я — хозяин своей судьбы»?

Каждый день изобретение по-новому служило открытию.

Стеклянные витрины соблазняли покупателей новыми товарами.

Специальное стекло для научных приборов выдерживало крайние температуры и делало лабораторное зрение острее.

Фотография с новыми типами светочувствительности улавливала и распространяла изображения того, что прежде было невидимо.

Электроника и компьютеры умножали чудеса повседневного открытия.

Атомная энергия и лазеры выбрасывали человека в прежде немислимые области.

Но этот захватывающий союз породил и новые соблазны, не уничтожив старых.

Первооткрывателю по-прежнему угрожает **иллюзия знания**.

Изобретателю — другая, не менее опасная иллюзия: убеждение, будто уже достигнуто **окончательное усовершенствование**.

Создатели американской федеральной Конституции пророчески заметили этот союз ещё тогда, когда он только зарождался.

В статье I, разделе 8, они предоставили Конгрессу право посредством законов о патентах и авторском праве:

«содействовать прогрессу наук [открытия] и полезных искусств [изобретения]».

Именно для этого нового сообщества «людей, занимающихся наукой вообще», XX век создаст свои институты.

Университеты станут плодотворными центрами.

В 1923 году в язык войдёт выражение **Research and Development** — «исследования и разработки», а корпорации начнут рисковать миллиардами, вкладывая их в новый союз.

Так скрепилась странная пара:

героический и отважный Улисс — и упорный, прозаический Эдисон.

Союз, которому, похоже, уже никогда не суждено распасться.

II. ИСПЫТАНИЯ СОВЕСТИ

*О совесть! В какую бездну страхов
и ужасов ты меня низвергла!
И выхода оттуда я не нахожу,
всё глубже, глубже погружаясь во мрак...*

— Джон Мильтон, *Потерянный рай*

4. Писатель совесть мира

«Совесть и трусость, — поправлял Шекспира Оскар Уайльд, — на самом деле одно и то же. Совесть — лишь торговое название фирмы». Или, как выразился Г. Л. Менкен, совесть — это «внутренний голос, который предупреждает нас, что кто-то может смотреть». Едва ли найдётся в нашем языке слово, более богатое ироническими двусмысленностями. Живя в Вашингтоне, я каждый день нахожу новые причины с опаской относиться к людям, слишком озабоченным чужой совестью.

Само слово «совесть» уже включает в себе и трудности, и возможности писателя как существа раздвоенного — того, кто говорит одновременно от себя и обращается к миру. Мы, писатели, живём в пограничной полосе между самовыражением и общением. И нам не нужны ни богословие, ни метафизика, чтобы напоминать: писателю невозможно избежать ни необходимости, ни соблазна служить двум господам — самому себе, тому, что звучит внутри него, и читателям, этим предполагаемым заказчикам снаружи. Западная литература предлагает бесчисленные примеры того, как авторы справлялись с этой раздвоенностью. Я приведу лишь несколько — из числа моих любимых писателей, — чтобы показать опасности, подстерегающие тех, кто возомнил себя судьями мира.

Двойственность — сама амбивалентность — понятия совести заложена уже в его происхождении. Английское *conscience* восходит к латинскому *conscientia*, буквально означающему «совместное знание». Греческий эквивалент *syneidesis*, также означавший «совместное знание», приобрёл смысл внутреннего чувства должного, сопоставления возможных способов

поведения и осуждения себя за выбор неверного пути. Начиная с Цицерона это слово переводилось то как «совесть», то как «сознание» — плодотворная двусмысленность, сохранившаяся и во французском *conscience*. В английском же языке слово *conscience* со временем стало означать прежде всего «внутреннюю способность судить о нравственном качестве наших мыслей, слов и поступков». Доктор Джонсон в своём *Словаре* отметил этот новый путь слова: «Совесть... 1. Знание или способность, посредством которой мы судим о собственной добродетели или порочности». Но оттенок двусмысленности сохранился и в следующих его значениях: «2. Справедливость» и «3. Сознание».

Я приведу три понимания совести, особенно ярко отразившиеся в западной литературе. Это **Божественная совесть, Общественная совесть и Личная совесть.**

Пожалуй, наиболее стесняющей писателя была древнейшая из них — Божественная совесть, глашатаями которой выступали пророки. Уже само слово «пророки» утверждало, что они говорят не от себя, а от имени Другого — Бога. Библейские прообразы здесь — Исайя и Иеремия. Среди западных авторов этого рода едва ли кто сравнится по силе со святым Августином Гиппонским (354–430), чьи главные сочинения — *Исповедь* и *О граде Божьем* — блистательно показывают два направления движения писателя, говорящего от имени мира: внутрь и наружу. В *Исповеди* читатель проходит вместе с автором путь к единому истинному Богу и Спасителю; в *О граде Божьем* события недавнего прошлого и вся история вписываются в христианское предназначение человечества. Эти два пути Божественной совести — внутрь и вовне, намеченные Августином, — в последующие века будут продолжены, расширены и исследованы западным христианством.

«Исповедь» — признание греха, нарушения велений совести — разумеется, превратилась в институт и сыграла важную роль и в иудаизме, и в христианстве. Ветхозаветные пророки стремились пробудить в людях чувство греха и сознание вины — личной и коллективной. День искупления и сегодня обладает для евреев почти мистическим эмоциональным эхом, даже для тех, чья связь с другими сторонами иудаизма ослабла или исчезла. В Римско-католической церкви исповедь стала обязательным институтом после Четвёртого Латеранского собора 1215 года, предписавшего каждому католику исповедоваться хотя бы раз в год.

В Средние века этот институт расцвёл в форме своеобразного **Трибунала совести**, важнейшей частью которого была исповедь. Он породил целую литературу, где авторы выступали судьями чужой совести, предписывая и исследуя, как общие нравственные принципы следует применять к конкретным житейским обстоятельствам. Это был, по существу, «метод конкретных случаев» — сегодня хорошо знакомый американскому юридическому образованию, — перенесённый в область морали.

Поскольку речь шла о применении правил к отдельным случаям — по-латыни *casus*, «случай», «событие», «происшествие», — и сама литература, и соответствующий способ рассуждения получили название **казуистики**. Классическим примером стало сочинение святого Августина *О лжи*, где был поставлен вопрос, позднее подробно рассмотренный Кантом: «Допустимо ли солгать, чтобы скрыть невинного от преследователей?» Подобная литература нравственных сомнений существовала не только у христиан, но и у еврейских составителей Талмуда и мусульманских толкователей Корана. Из-за особой искусности иезуитов в такого рода рассуждениях чрезмерное увлечение тончайшими

различиями стали называть «иезуитским». К XVIII веку английское слово *casuistry* уже превратилось в синоним софистики — ловкого уклонения от трудных вопросов долга. Один остроумец назвал её «искусством спорить с Богом по мелочам».

Протестантская Реформация, сосредоточившая всё внимание на Личной совести, отвергла «трибунал совести» и священническую исповедь. Но зато расцвела протестантская литература «случаев совести»: пасторы присваивали себе власть над частной совестью, мало отличавшуюся от власти католического священника в исповедальне. Колониальная Новая Англия породила десятки сочинений под названием *Cases of Conscience*, где с одинаковой окончательностью решались вопросы и пустяковые, и космические. Так, Соломон Стоддард в книге *Ответы на некоторые случаи совести, касающиеся страны* (Бостон, 1722), задав вопрос: «Допустимо ли мужчинам носить длинные волосы?», убедительно осуждал этот обычай как «великое бремя и неудобство... женоподобие и огромную трату». Обращаясь к более серьёзной теме, Стоддард спрашивал: «Не поступили ли мы несправедливо с индейцами, покупая их землю за бесценок?» И успокаивал совесть Новой Англии напоминанием, что «Бог даровал землю людям, чтобы они покоряли её», что «индейцы использовали её лишь для охоты» и что, «останясь у них, она имела бы малую ценность».

По мере того как в столетия после Гутенберга расширялся книжный рынок, росла грамотность, а новые учреждения и технологии печати и издательского дела охватывали всё более широкую публику, слово «пророк» обрело новый смысл — и новую двусмысленность. Писатель стал раздвоенным уже в ином отношении. Тем «другим», от чьего имени говорил писатель-пророк, был теперь уже не Бог, а Его современный заместитель — **Публика.**

Конечно, демагогия — вовсе не изобретение Нового времени. Но знаменитое *Vox populi, vox dei* — «глас народа — глас Божий», негласный девиз современных авторов бестселлеров, — появилось задолго до эпохи либерализма, представительного правления и печатной книги. Некоторые приписывают первое употребление этого выражения Алкуину (735–804), около 800 года. Этот энергичный помощник Карла Великого при дворе франков, один из вождей Каролингского возрождения, считается человеком, принесшим в Западную Европу нормы англосаксонского гуманизма. Он реформировал литургию и ввёл ирландско-нортумбрийский обычай пения Символа веры.

И всё же само понятие «**читающая публика**» безусловно принадлежит Новому времени. Согласно *Оксфордскому словарю английского языка*, первое зафиксированное употребление выражения *the reading public* принадлежит Сэмюэлу Тейлору Кольриджу и относится к 1817 году. А к середине века, в 1843 году, Джон Рёскин уже мог заметить: «Для каждой картины и для каждой книги существует своя особая публика».

Теперь место божественных пророков и казуистов заняли светские наставники общественного мнения — и приобрели поразительную популярность. Они стали пророками **Общественной совести**. Их священными текстами были уже не Писание, а государственные документы, статистика смертности, хроники нищеты и болезней, сведения о работорговле, рассказы об угнетении женщин и жестоком обращении с детьми, бедствия фабричных рабочих и тому подобное. Это снова были «случаи совести», только теперь они получали сенсационные заголовки в памфлетах, газетах, журналах просветительского и филантропического толка.

Главной литературной формой становилось уже не богословское или философское рассуждение, а просто **повествование** — живо привязанное ко времени и месту,

непосредственно соприкасающееся с чувствами, надеждами, негодованием и устремлениями широкой публики. Самый известный американский пример — *Хижина дяди Тома* Гарриет Бичер-Стоу (1852), разошедшаяся примерно в трёхстах тысячах экземпляров за первый год.

Роман стал современной литературной формой казуистики — способом проверять нравственные декларации общества на конкретных случаях.

Блистательно успешным пророком Общественной совести был, конечно же, Чарльз Диккенс (1812–1870). Его успех строился на том, что он помогал обществу судить собственные институты — сопоставлять их с претензиями отдельных людей и провозглашаемыми моральными принципами. Едва ли в викторианской Англии или Америке XIX века существовало учреждение — школы, уголовные законы, адвокаты, священники и филантропы, тюрьмы и работные дома, — которое не подверглось бы его взыскательному нравственному взгляду.

Если слабостью богословского казуиста были законничество, софистика, придиричивость и елейность, то романист-казуист сталкивался с противоположными соблазнами. Он воздействовал на читателя сентиментальностью и мелодрамой. Его опасностью были уже не буквализм и педантизм, а упрощение и карикатура.

Роман с продолжением, одним из пионеров которого был Диккенс, давал писателю удобную, благоразумную и весьма прибыльную возможность сверяться с Общественной совестью — или общественным сознанием — прямо по ходу работы. Каждый 32-страничный выпуск *Посмертных записок Пиквикского клуба* (1836–1837), выходивший в зелёной бумажной обложке в последний день месяца и стоивший один шиллинг, приносил Диккенсу утешительное подтверждение рынка: он даёт публике именно то, чего она хочет.

А если отклик показывал, что читателям что-то не по вкусу, в следующем выпуске можно было постараться им угодить. Диккенс называл это «болезнью периодического абзаца». «Другие писатели, — объяснял он в первоначальном предисловии к *Николасу Никльби* (1839), — преподносят свои чувства читателям с той сдержанностью и осмотрительностью, какие свойственны человеку, имевшему мало времени подготовиться к публичному выступлению... Но автор периодического издания отдаёт читателю чувства сегодняшнего дня тем языком, который сами эти чувства ему подсказали».

Диккенс был необычайно чувствителен к этой Общественной совести-сознанию. Когда первые четыре выпуска *Мартина Чезлвита* (1843–1844) разошлись плохо — около 20 тысяч экземпляров каждый против 50 тысяч у *Пиквика* и *Николаса Никльби* и 100 тысяч у *Лавки древностей*, — после совещания с издателями Чепменом и Холлом и близким другом Джоном Форстером он решил воспользоваться уроком феноменального успеха своих *Американских заметок*, вышедших годом раньше.

Тогда Диккенс отправил героя, Мартина Чезлвита, в Америку, чтобы получить возможность ещё ярче развить эффектные и возмутительные обобщения из *Американских заметок*. К сожалению, продажи не выросли так, как он надеялся. И всё же, по словам самого Диккенса, результат был «в сотне отношений неизмеримо лучшим» из всего, что он до тех пор написал.

Диккенс любил утверждать, что рост грамотности и расширение читающей публики означали, что «народ освободил литературу» от позора купленных посвящений и рабского покровительства. Но его собственная карьера наглядно показала не только материальные выгоды, но и литературные опасности нового публичного **«Трибунала совести»**.

По иронии истории западной литературы именно в эту эпоху беспрецедентных соблазнов литературного популизма — эпоху суверенной и всё более требовательной публики — возникло новое и плодотворное понимание **Личной совести**.

Частное сознание обрело новую жизнь и стало удивительно богатым литературным материалом. В своём новом облике совесть — прежде лаборатория богословской казуистики, а затем арена мимолётных общественных вкусов — обратилась внутрь человека, стала экспериментальной и биографической. Я уже описывал это современное западное создание личности в третьей книге *Творцов*.

Об этом удивительном приключении самонаблюдения, об этой *terra incognita* внутреннего мира впервые громко возвестил блестящий Мишель де Монтень (1533–1592). Он считал, что только человек вправе судить самого себя, и парадоксальным образом превратил эти самосуждения в литературу.

Новым изобретением Монтеня стало, конечно, **эссе** — название, которое он сам ввёл для своей «честной книги... частной и домашней». Уничижительно отзываясь о предмете книги — «о самом себе», — он предупреждал читателя: «Нет никакой причины тратить досуг на столь пустой и неблагодарный предмет».

То, что он предложил, во многом напоминало то, что прежние христиане называли бы казуистикой: проверку общих нравственных положений на конкретных случаях. Но в этой современной казуистике Монтень — а вслед за ним и многие другие — брал случаи из собственной жизни.

В самом себе он судил человека вообще — микрокосм человеческой природы, — задавая вопросы вроде: «Следует ли судить о наших поступках по намерениям?» или «Выгода одного есть убыток другого».

В главе «О раскаянии» Монтень писал:

Другие создают человека; я лишь изображаю его — одного, вполне определённого и весьма дурно скроенного, которого, будь у меня возможность переделать, я, несомненно, сделал бы совсем иным. Но это невозможно... Вся нравственная философия с таким же успехом применима к самой обыкновенной и частной жизни, как и к жизни более возвышенной. Каждый человек несёт в себе полный образ человеческой природы.

Авторы обращаются к миру в каком-либо особом качестве; я первый делаю это всем своим существом — как Мишель де Монтень, а не как грамматик, поэт или юрист. Если люди жалуются, что я слишком много говорю о себе, я жалею на то, что они вовсе о себе не думают.

И он предостерегал от того, чтобы позволять другим судить нас:

Только ты сам знаешь, жесток ли ты и труслив или верен и исполнителен. Другие не видят тебя; они судят о тебе лишь по ненадёжным догадкам; они видят не столько твою природу, сколько твои уловки. Поэтому не полагайся на их мнение — полагайся на своё.

[И вслед за Цицероном:] «О себе следует судить собственным судом. Внутреннее сознание добродетели и порока имеет огромную силу; отними его — и всё рушится».

Нет человека, который, прислушавшись к самому себе, не обнаружил бы внутри некоего собственного начала, начала руководящего...

Этот поворот совести внутрь — от внешних правил божественного или общественного происхождения к личному голосу — был частью гораздо более широкого сдвига: не только в морали, но и во всей философии и теории познания.

Декарт (1596–1650), которого часто называют «основателем современной философии», первым положил сознание в основание философии и попытался выстроить философский метод целиком в пределах сознания. Эта исходная идея стала всем знакома в формуле *Cogito ergo sum* — «Мыслю, следовательно, существую».

«Что же я такое?» — спрашивал Декарт. «Мыслящая вещь. А что такое мыслящая вещь? Это то, что сомневается, понимает, утверждает, отрицает, желает, воздерживается от желания, а также способно воспринимать образы и ощущения».

Некоторые направления современного материализма тоже вели к признанию личной совести.

Томас Джефферсон, человек вовсе не особенно склонный к самоанализу, был готов наставлять своего молодого друга Питера Карра относительно «естественной истории» нравственного чувства в письме из Парижа 1787 года. Посещать лекции по нравственной философии, говорил он, — пустая трата времени. Творец «оказался бы жалким недотёпой, если бы сделал правила нашего нравственного поведения предметом науки».

Да в этом и не было необходимости, объяснял Джефферсон, потому что Он избрал гораздо более простой путь:

Человек предназначен для общества. Поэтому его нравственность должна была быть устроена соответственно. Ему дано чувство правильного и неправильного — именно в связи с этим назначением. Это чувство столь же естественно для него, как слух, зрение или осязание; именно оно, а не... истина и прочее, как воображают некоторые писатели, является подлинной основой нравственности. Нравственное чувство совести — такая же часть человека, как его рука или нога. Оно дано всем людям в

большей или меньшей степени... И, подобно любой части тела, может укрепляться упражнением.

Для писателей, более философски настроенных, чем Джефферсон, превращение средневекового «трибунала совести» во внутреннюю личную способность открыло необычайно плодотворный литературный источник.

Проблема человеческой погрешимости и идея бесконечного стояли в самом центре размышлений Декарта и сделали его тревожную совесть важнейшей частью философии.

Тем же путём пошёл и Блез Паскаль (1623–1662): в *Письмах к провинциалу* (1656–1657) он атаковал иезуитскую казуистику, а в своих фрагментарных и блистательных *Мыслях* (1670) стал апостолом веры.

«Мы неспособны ничего доказать, — замечал Паскаль, — и никакой догматизм не способен устранить эту неспособность. Но у нас есть идея истины — и никакой скептицизм не способен её уничтожить».

Поэтому разум достоин одновременно и нашего почтения, и нашего недоверия.

Эта дорога внутрь человека привела нас ко всему великому предприятию современной философии.

Она же привела писателей к двум важнейшим жанрам современной литературы — **роману и биографии**.

Оба исследуют пограничную область между тем, что думает писатель или герой, и тем, что думает мир, — между «совестью» и «сознанием», или тем самым «совместным знанием».

Дон Кихот, которого иногда называют первым современным западным романом, строится именно на этом контрасте.

И современная биография, в отличие от *Сравнительных жизнеописаний* Плутарха, посвящённых знаменитым грекам и римлянам, становится интимной.

Разумеется, и биография, и роман испытывали на себе соблазны Общественной совести, но одновременно открывали новые способы драматически противопоставлять реальность частных пороков внешнему облику общественных добродетелей — и превращали истории Личной совести в литературу.

Богатую жилу этого рода в начале нашего столетия открыл Литтон Стрейчи в *Знаменитых викторианцах* (1918); позднее в Соединённых Штатах её разрабатывали Роберт Каро в биографии Линдона Джонсона, Найджел Гамильтон в книге о Кеннеди и многие другие.

Но Личная совесть — и сознание — в современном западном мире стала чем-то гораздо большим, чем просто материал для новых жанров биографии и романа.

Она создала огромный частный мир литературного опыта — новые, почти мистические лаборатории воображения — в том, что Уильям Джеймс в *Принципах психологии* (1890) назвал **«потоком мысли, сознания или субъективной жизни»**.

Здесь «совесть» и «сознание» снова сошлись.

Самая частная область человека — та, которую прежде называли совестью, — стала благодаря писателю общедоступной.

В английской литературе непревзойдённым современным мастером этого был, конечно, Джеймс Джойс (1882–1941).

В заключительных словах Стивена Дедала он блистательно возвестил об этом соединении:

«Добро пожаловать, жизнь! Я иду в миллионный раз встретиться с реальностью опыта и выковать в кузнице своей души ещё не созданную совесть моего народа. Старый отец, старый мастер, поддержи меня ныне и впредь».

Никогда прежде монтеновское видение личности, судящей саму себя, не осуществлялось столь полно, как у Джойса.

Но даже Джойс не мог избежать бесчисленных опасностей раздвоенного «я».

Каждому типу совести соответствовали свои особые угрозы для писателя.

Мы видели, что Божественная совесть — совесть самопровозглашённых пророков и уполномоченных распорядителей чужих душ — несла опасность законничества, педантизма и казуистики.

Общественная совесть влекла к полемике, сентиментальности и мелодраме.

Теперь Личная совесть, утончённая до потока частного сознания, могла заманить писателя в полностью замкнутый мир.

Джойс-волшебник, как никто до него и после него, показал, насколько личным, эзотерическим и зашифрованным способен стать язык Личной совести.

По этой дороге он провёл нас через *Портрет художника в юности* и *Улисса*, а затем заманил в настоящую **Ultima Thule** — в *Поминки по Финнегану*.

Говорить о писателе как о **совести мира** — значит лишь признать, что писатель, как мы уже видели, неизбежно остаётся раздвоенным существом: он одновременно обречён выражать себя и общаться, говорить от имени писателя и обращаться к другим.

Быть писателем на Западе сегодня, имея за плечами весь опыт этих разновидностей совести, — значит искать новые средства, новые литературные формы для этого раздвоенного «я» в мире, давно привыкшем и к Общественной совести, и к Личной.

Для еврея, которому выпало жить и писать в обществе, преимущественно христианском, этот вызов приобретает всё новые оттенки и измерения.

Говоря о себе, я вижу, что американский опыт ассимилированного внука ортодоксальных иммигрантов превратил меня в плохо осведомлённого, неверующего, не соблюдающего обряды ортодоксального еврея — и всё же преследуемого ностальгией по особой музыке шул, по иудаизму, которого я сам не исповедую.

И это добавляет ещё один загадочно переливающийся оттенок к моему еврейству — и ещё одну соблазнительную возможность для раздвоенного писательского «я».

Оглядываясь назад сквозь века и тысячелетия, мы можем поразмышлять о том, насколько неожиданными были все испытания, выпадавшие на долю раздвоенной души писателя.

Каждый из трёх рассмотренных мной типов совести — Божественная, Общественная и Личная — возник под воздействием исторических сил, которые невозможно было заранее предвидеть.

Это и вдохновение пророков, и притягательная весть христианского Спасителя, и организованная власть всемирной Римской церкви, и вызов протестантских реформаторов — без всего этого богатая литература Божественной совести была бы немыслима.

Затем подъём западного индустриального общества, технологии печати и книги, газета и электронные средства массовой информации, либеральные представительные институты, рост грамотности и науки — всё это сошлось вместе, усиливая общественное мнение и читающую публику и тем самым создавая Общественную совесть.

И наконец — поразительное рождение в нашем столетии Личной совести как побочного результата всего перечисленного и бесчисленного множества других непредвиденных сил: разочарования и ужаса убийственной Первой мировой войны,

развития психологии, изобретения психоанализа, сексуального освобождения и растущего равенства полов.

Каждый из этих этапов развития западной совести приносил непредсказуемые сближения совести и сознания — новые испытания, новые искушения и новые источники для вечно заново раздваивающегося писательского «я».

Разве мы не вправе ожидать, что силы, действующие сегодня, в будущем столь же неожиданно придадут этому раздвоенному «я» писателя совершенно новые формы?

5. СТРАНА ИЗМУЧЕННАЯ СОВЕСТЬЮ

Всем известно, что основатели Новой Англии пришли сюда по велению совести. Они хотели «очистить» институты Старого Света и воздвигнуть духовно чистый Град на холме. Но начиная с первых десятилетий XIX века европейский стереотип изображал Соединённые Штаты страной грубых материалистов. Само слово *businessman* в его современном коммерческом значении возникло в Америке и вошло в употребление около 1830 года. Алексис де Токвиль в самой влиятельной из когда-либо написанных книг о Соединённых Штатах заметил, что «любовь к богатству... обнаруживается либо как главный, либо как побочный мотив почти во всём, что делают американцы; она придаёт всем их страстям некое фамильное сходство». Путешественники — от Чарльза Диккенса до Фрэнсис Троллоп — закрепили образ американца-филистера. Да и сами американцы охотно поддерживали этот образ — особенно знаменитой фразой Калвина Кулиджа: «Главное дело американского народа — бизнес».

Эта самодовольная банальность мешала заинтересованным наблюдателям за рубежом понять истоки некоторых самых мучительных внутренних проблем Соединённых Штатов конца XX века. И происходят они вовсе не из американского материализма, не из расчётов экономической эффективности и не из дефицита бюджета. «В большинстве американцев, — прозорливо заметил в 1953 году судья Луис Брандейс, — есть искра идеализма, которую можно раздуть в пламя. Иногда требуется почти волшебная лоза, чтобы её отыскать; но когда

она обнаружена — а зачастую это значит, что её лишь открыли самому её обладателю, — результаты бывают поразительными».

Сегодня мы видим, как эти искры идеализма раздулись в пламя — в неожиданном возрождении новоанглийской совести. В Соединённых Штатах многие из самых ожесточённо обсуждаемых общественных проблем созданы нами самими. Мы — народ, которого преследуют все несправедливости прошлого и страх перед несправедливостями будущего. И против этих зол мы словно обречены искать законодательные панацеи.

Остроумцы говорят, что крепкая совесть первых жителей Новой Англии никогда не мешала им делать всё, что им хотелось. Она лишь мешала им получать от этого удовольствие. В последующие столетия развитие либеральной демократии и власти большинства, рост грамотности и массовой печати создали нового судью совести — новый голос Бога. *Vox populi, vox dei* — глас народа есть глас Божий. И в Соединённых Штатах Божественная совесть давно уступила место Общественной совести — силе, которая всё настойчивее преследует нас и господствует над нашей жизнью.

Сегодня американские журналисты и политики буквально погребены под вопросами совести. Какие законы принять, какие надзорные комиссии создать, как возбудить общественное негодование, чтобы исправить древние несправедливости, оскорбляющие нашу гражданскую совесть? В один случайно взятый день — 19 мая 1993 года — на первой полосе *The Washington Post* появились следующие сюжеты: предлагаемая компромиссная схема, позволяющая гомосексуалам открыто служить в армии; молодая чернокожая женщина, назначенная поэтом-лауреатом; первый чернокожий юрист, связанный с городом, выдвинутый на пост федерального прокурора; рекомендация специальной комиссии университетам увеличить

число женских спортивных команд и стипендий; наконец, заголовок: «Покрытие абортот ставит под угрозу реформу здравоохранения». На первой полосе *The New York Times* того же дня сообщалось об опросе, согласно которому чернокожие поддерживают мэра Дэвида Динкинса, белые — нет, а латиноамериканцы разделились; о том, как недавние выборы в школьные советы показали, что население «глубоко взбудоражено» преподаванием тем сексуальности и мультикультурализма; о присуждении 400 тысяч долларов профессору Городского университета и заведующему кафедрой исследований чернокожих за то, что его понизили в должности из-за антисемитских высказываний — профессор, удовлетворённый исходом дела, назвал это победой «африканского народа»; и, наконец, иллюстрированная статья о трудностях, возникающих, «когда дети-инвалиды приходят в обычные классы».

«Случаи совести», обостряющие американскую политическую жизнь, не обнаруживают никаких признаков скорого исчезновения. И сами эти вопросы вовсе не вымышлены. Напротив, они глубоко укоренены в реальных несправедливостях прошлого: чернокожих обращали в рабство; гомосексуалов презирали и объявляли преступниками; женщин лишали возможностей для самореализации; американских индейцев изгоняли с их земель; людям с инвалидностью отказывали в работе. Мы, сегодняшние американцы, осваиваем и эксплуатируем новые рубежи совести почти так же, как американцы XIX века осваивали и эксплуатировали природные богатства огромного континента.

Американцы стали защитниками не только жертв самых грубых и очевидных исторических несправедливостей — вроде рабства, — но и жертв бесчисленных скрытых несправедливостей, подобных тем, которым традиционно

подвергались люди с физическими и психическими ограничениями. Так, недавние законы потребовали не только обеспечить доступ в общественные здания, перестроить бордюры и тротуары, приспособить автобусы для инвалидных колясок, но и гарантировать возможности трудоустройства. Защитники прав детей привлекли внимание общества к жестокому обращению с ребёнком и даже открыли путь к искам детей против родителей. Судебные преследования за сексуальные злоупотребления далёкого прошлого — реальные или воображаемые — иногда строятся на показаниях детей, надёжность которых вызывает сомнения. Пожалуй, самый ожесточённый и раскалывающий вопрос внутренней политики — вопрос аборта, грозящий вернуть религии новую и тревожную роль в гражданской жизни. Граждане, мучимые совестью, рассматривают и его как нарушение «прав» ещё не родившихся. Другие американцы, возмущённые посягательствами на чистоту окружающей среды, объединяются в защиту права всех видов животных не быть уничтоженными. Так выживание пятнистой совы и волка стало серьёзной политической проблемой. Появились даже статьи в юридических журналах о «правах» деревьев.

Никто не способен угадать, какие новые «случаи совести» завтра взбудоражат американские общественные страсти. Многие считали, что принятие всеобъемлющего Закона о гражданских правах 1964 года, запрещавшего расовую дискриминацию при голосовании, найме на работу и в общественных учреждениях, станет кульминацией движения за права. Но они недооценили силу и размах новоанглийской совести в XX веке. Закон о гражданских правах оказался лишь одним симптомом того, что превратилось почти в патологическую гиперчувствительность. Недавно эта защита распространилась на ещё более расплывчатые и трудно

определимые права — такие, например, как право женщин (и мужчин) не подвергаться «сексуальным домогательствам». Кто мог предвидеть, что культура Нового Света, прославившаяся своими впечатляющими материальными успехами, поставит перед нами целую мелодраму сверхчувствительной совести?

Этот новый американский морализм, это возрождение совести не могло не сказаться на культуре, интеллектуальных и эстетических критериях. Наш словарь был пересмотрен и расширен — предположительно в пользу каждой из групп, оказавшихся под опекой нашей недавно обострившейся совести. Слово *Negro*, имевшее долгую и вполне почтенную историю и закреплённое в названиях научных журналов и трудов защитников расового равенства, внезапно стало табу. Какое-то время требовали говорить *black*, затем его вытеснило дефисное *Afro-American*, а теперь предпочтительным стало *African-American*. Те из нас, кто считал славой нашей страны её способность принимать всех вновь прибывающих просто как американцев, с изумлением видят, как некоторые сограждане требуют называть себя исключительно американцами «через дефис». Стоит вспомнить пронизательное предупреждение Теодора Рузвельта 1915 года: «Есть один абсолютно верный способ погубить эту нацию, лишит её всякой возможности вообще оставаться нацией — позволить ей превратиться в клубок враждующих национальностей». Похоже, мы избежали многих болезней Старого Света — религиозных и языковых войн, наследственных классовых различий, идеологической политики, — но некоторые граждане словно ведут нас к превращению Америки в новые Балканы.

Пользоваться устаревшими словами теперь можно только на свой страх и риск. Подобные выражения объявляются признаком «нетерпимости» — будь то у отдельного гражданина или у газеты, а для политика могут стать смертельными. В

отношении женщин требуется не меньшая осторожность: многие предпочитают обращение *Ms.* вместо *Mrs.* или *Miss.* Даже то, как именовать Первую леди, прежде мало занимавшее журналистов, стало небольшим общественным вопросом после настойчивого употребления полного имени нашей новой Первой леди — Хиллари Родэм Клинтон. *Handicapped* или *otherwise endowed* — «иначе одарённый» — превратились в обязательные эвфемизмы вместо некогда обычных слов «слепой», «глухой», «немой» и полностью запретного «калека». Совершенно описательное слово *homosexual* было вытеснено словом *gay* — впервые употреблённым в этом новом значении около 1935 года, — из-за чего оно почти утратило свои чудесные прежние поэтические смыслы; рядом возникло новое, заведомо полемическое слово *homophobe*. В Соединённых Штатах у нас больше нет «стариков» или «пожилых» — есть только «старшие граждане». Друзья за рубежом, возможно, удивятся, узнав, что у нас нет «невежественных» граждан — есть лишь «культурно обделённые» или «находящиеся в неблагоприятном положении». Нет и «нищих» — только «бездомные». Американские индейцы теперь не индейцы, а «коренные американцы» — что невольно звучит как умаление всех прочих коренных американцев, родившихся здесь. Некоторые жители Вашингтона выражали негодование по поводу того, что городская футбольная команда продолжает называться *Redskins*. Когда-то «исключительными» детьми называли необычайно одарённых; теперь это слово призвано придать достоинство тем, кто «исключителен» вследствие инвалидности.

В 1990 году Управление по делам студентов колледжа Смит определило *ableism* как «угнетение людей с иными способностями со стороны временно трудоспособных». *A lookism* — это грех «оценивания людей по их внешности; вера в то, что внешний облик является показателем человеческой ценности;

установление стандарта красоты или привлекательности и угнетение посредством стереотипов и обобщений как тех, кто этому стандарту не соответствует, так и тех, кто соответствует». Но, разумеется, теперь нам приходится следить вообще за всем, что мы говорим по-английски: одна особенно рьяная феминистка назвала английский язык *Manglish* — «английским языком, используемым мужчинами для увековечения мужского господства». Чтобы не оскорблять женскую чувствительность, не следует ли переименовать давно почтенный университетский *seminar* в *ovular*? Низкорослые люди теперь просто «вертикально ограничены». Даже орфография должна стать более чуткой. Меня сурово упрекали за слова *mankind* и *humanity*, а также объясняли, что *woman* следует писать *womin*, чтобы избавиться от оскорбительного присутствия мужского корня.

Воздействие нашей вновь обострившейся американской совести на эстетические и интеллектуальные нормы трудно измерить — да и само обсуждение этой темы стало весьма чувствительным. Но оно, несомненно, значительно. Управление по репатриации, созданное в 1991 году при Национальном музее естественной истории — одном из главных центров изучения этнографии и антропологии американских индейцев, — разобрало коллекцию скелетных останков и погребальных или священных предметов коренных американцев, возвратив различным группам около двух тысяч таких комплектов. Более семисот комплектов останков были переданы коренным жителям Ларсен-Бей на Аляске, где их упаковали и вновь погребли из «уважения» к их безымянным владельцам. День рождения Мартина Лютера Кинга-младшего теперь является единственным национальным праздником, посвящённым конкретному человеку, тогда как дни рождения Линкольна и Вашингтона объединены в безличный «День президентов».

То, что Бертран Рассел когда-то презрительно называл «Высшим достоинством угнетённого», неизбежно размывало наши сверхчувствительные суждения о произведениях искусства и литературы, созданных представителями групп, некогда бывших жертвами. Американские школы и университеты считают само собой разумеющимся, что могут исполнить своё широкое образовательное предназначение лишь смягчив стандарты в пользу тех, кто прежде был обделён. Эта практика, которую не всегда признают открыто, иногда подвергается нападкам — но обычно только тогда, когда она институционализирована в форме незаконной «позитивной дискриминации» и квот. В последние десятилетия Соединённые Штаты негласно выработали скользкую шкалу стандартов, призванную обеспечить возможности тем, кто по тем или иным причинам прежде был их лишён. Опасность для американской культуры исходит не столько от применения различных стандартов, сколько от притворства, будто стандарты не меняются — или будто никаких стандартов вообще не существует. Но величайшая опасность заключается в снисходительности и унижении тех самых обделённых групп, которым тем самым внушают: от них следует ожидать меньшего и сами они вправе ожидать от себя меньшего.

Эпоха гипертрофированной совести породила проблемы и для нашей традиционной политики власти большинства. Вместо неё всё чаще проявляются черты устройства, напоминающего печально известную польскую конституцию, при которой один князь мог наложить вето на любое общегосударственное решение. Мы рискуем превратиться в нацию «меньшинств», а не большинства. Да и само понятие «меньшинство» становится всё более расплывчатым и неуловимым. Женщины, хотя фактически составляют большинство населения, обрели статус и

притязания «меньшинства», тогда как евреи почему-то, похоже, этот статус утратили.

Наша, к счастью, сложная конституционная система, затрудняющая принятие законов, предоставляет представителям любой из групп, находящихся под защитой совести, множество возможностей заблокировать законодательство, которое кажется им невыгодным. Первый кандидат президента Клинтона на должность помощника генерального прокурора по гражданским правам даже предложил рассмотреть возможность «предоставить чернокожим право меньшинства налагать вето по вопросам, затрагивающим жизненно важные интересы меньшинств».

По иронии, как показывает новейшая американская история, в обществе, столь озабоченном совестью, группы, некогда бывшие жертвами, стремятся уже не столько к общности, сколько к «наделению властью». А власть границ не знает. Они требуют компенсации за прежнее исключение — не в форме полного и свободного допуска к состязательному обществу, а в форме власти, которая должна гарантировать, что угнетение никогда не повторится. Равных условий для всех уже недостаточно.

Но именно равные условия и обещала Америка беженцам из Старого Света. Америка означала возможность начать сначала, построить новую жизнь — вдали от кладбищ предков, родовых поместий, феодальных повинностей и цеховых ограничений. Вдали и от древних пограничных распрей, и от языкового провинциализма. Но нация, терзаемая совестью, не чувствует будущего. Она не желает рискнуть и допустить, что будущее может не свести счёты прошлого. Она стремится оградить своих подопечных, обделённых, от неудачи — и может сделать это лишь одним способом: лишив их возможности рисковать.

А ведь наш континент всегда был континентом неопределённости. Надежду отдельному человеку давала не только общность, но и готовность вступать в состязание, рисковать, отказаться от мести, отказаться одновременно и от притязаний на наследственные привилегии, и от притязаний на возмещение наследственных страданий. Попытка свести бухгалтерский баланс истории сделала бы невозможным само общество Нового Света. Американское равенство не могло стереть историю — и никогда не притворялось, что способно это сделать.

Оно лишь распахивало ворота в будущее.

3. ВОЗМОЖНОСТИ НОВОГО МИРА

«Пока счастье нам улыбается, мы должны устремиться в погоню, ибо волосы у случая на лбу растут. А если он от вас уплывёт, вам уже не за что будет его ухватить: сзади он совершенно лыс и лицом к вам уже не повернётся».

— Франсуа Рабле, Гаргантюа

6. КНИГОПЕЧАТАНИЕ И КОНСТИТУЦИЯ

Нас ввело в заблуждение привычное утверждение, будто наша Конституция — старейшая из действующих «писанных» конституций. Точнее было бы сказать, что это, вероятно, первая **печатная** конституция и несомненно самая старая печатная конституция, по которой до сих пор живёт целая нация. Это сразу помещает её в более широкий и более современный исторический контекст.

Наша нация родилась при ярком свете истории, и мы можем шаг за шагом проследить создание и подробную редактуру этого документа по материалам конвента, заседавшего в Индепенденс-холле в Филадельфии с 14 мая по 17 сентября 1787 года. Некоторые его участники были людьми литературного склада, но все без исключения жили уже в культуре печатного слова. Когда Конституционному конвенту понадобились печатники, выбор пал на Джона Данлапа и Дэвида К. Клейпула, которые с 1776 года печатали документы Континентального конгресса. Их имена стояли на официальном печатном издании Декларации независимости 1776 года. Свою надёжность они уже доказали, выступая официальными печатниками Статей Конфедерации.

Создатели Конституции считали строжайшую секретность необходимой: она должна была позволить участникам конвента говорить свободно и уберечь их от соблазна демагогии. Одиннадцатью годами раньше, когда Континентальный конгресс уже однажды пытался договориться о новой форме правления, он заседал в том же помещении, где теперь собрался Конституционный конвент. Тогда Данлап и Клейпул подписали клятву о неразглашении: «Мы и каждый из нас клянёмся, что

передадим секретарю Конгресса все экземпляры “Статей Конфедерации”, которые напечатаем, вместе с наборным оригиналом, и что ни прямо, ни косвенно не раскроем содержание указанной Конфедерации». Делегаты нового Конституционного конвента рассчитывали на такую же молчаливость своих печатников — и не обманулись.

Когда работа конвента приближалась к завершению и Комитет по деталям начал придавать окончательную форму принятым решениям, Данлап и Клейпул регулярно снабжали делегатов печатными версиями очередных исправлений. Первые корректурные оттиски поступили в Комитет по деталям примерно 1 августа — для новых изменений. Поправки внесли, и исправленный текст, по-видимому, был роздан всем членам конвента 6 августа. Месяц спустя, в начале сентября, конвент в полном составе внёс новые изменения, которые Комитет по деталям включил в очередную редакцию. Её напечатали и 12 сентября снова представили конвенту. «Доклад был положен на стол секретаря, — записал секретарь конвента Уильям Джексон, — и после того, как его полностью прочли один раз, постановлено было снабдить членов печатными экземплярами. Одновременно был представлен проект письма Конгрессу; его также прочли целиком один раз, после чего одобрили по абзацам».

14 и 15 сентября конвент вновь прошёл этот исправленный печатный текст раздел за разделом. 15 сентября Мэдисон записал: «На вопрос об одобрении Конституции с внесёнными поправками все штаты ответили утвердительно». Джордж Вашингтон отметил в дневнике того же дня, что конвент «отложил заседание до понедельника, чтобы Конституция, которую предполагалось предложить народу, была переписана начисто и отпечатана в нескольких экземплярах». Доктор

Джеймс Макгенри из Мэриленда добавил в своём дневнике, что было велено изготовить пятьсот экземпляров.

Очевидно, что, придавая окончательную словесную форму идеям, устройству и компромиссам, над которыми они трудились четыре месяца, участники конвента всё время работали с **печатным текстом**. Последние изменения они снова и снова вносили непосредственно в печатные версии проекта Конституции. И только в самом конце их совместный труд окончательно был превращён в «рукопись» — посредством так называемого *engrossing*, то есть чистовой юридической переписи.

Слово *engross*, восходящее к средневековой латыни и означавшее письмо крупным почерком, в этом значении почти исчезло из современного употребления. Сегодня его можно встретить разве что применительно к дипломам и наградным грамотам, завещаниям, актам и другим юридическим документам. Тогда оно имело специальный правовой смысл — «переписать особым почерком, принятым для юридических документов». Уже к концу XVIII века это значение начинало устаревать. Печатный текст приобретал новую достоверность и новую силу. Создатели исторического юридического документа, оттачивая его решающие формулировки, работали не с торжественной юридической рукописью, а с обычными печатными листами. Иными словами, они уже работали с **печатной Конституцией**.

А как иначе мог бы функционировать конвент — пятьдесят пять делегатов, обсуждающих, советующихся, спорящих и в конце концов договаривающихся о совершенно определённой формулировке? На протяжении столетий окончательный текст исторических политических документов переписывали начисто, после чего несколько грамотных и технически подготовленных переговорщиков тщательно его проверяли. Но этот документ

создавали в тесном взаимодействии пятьдесят пять человек. Можно ли было надёжно переписать исходный текст в пятидесяти пяти абсолютно одинаковых экземплярах? Могли ли делегаты быть уверены, что перед глазами у всех находится один и тот же текст? Последующая история показала, что любая пропускная буква, запятая, двоеточие или заглавная буква могли повлиять на судьбу торговли, общего благосостояния и международных отношений великой страны. Без печатных экземпляров они буквально потерялись бы в море слов.

Дальнейшая судьба документа стала своего рода аллегорией первенства печати. В 1883 году Дж. Франклин Джеймсон, выдающийся американский историк и библиограф, позднее возглавлявший Отдел рукописей Библиотеки Конгресса, разыскивал чистовые рукописные экземпляры главных государственных документов. Он обнаружил, что рукопись Декларации независимости с гордостью выставлена на видном месте в библиотеке Государственного департамента в Вашингтоне. А рукописная Конституция Соединённых Штатов в то же самое время «лежала сложенной в маленькой жестяной коробке в нижней части шкафа».

В этом пренебрежении к рукописному слову невольно заключался глубокий исторический смысл. Конституция была выношена и принята не в рукописи, а в **печатном слове**. В 1921 году её рукописный экземпляр поступил в Библиотеку Конгресса, где оставался до 1952 года, когда был передан в только что созданный Национальный архив. Там, выставленный в Большом зале и ежегодно посещаемый тысячами людей, рукописный вариант наконец получил ту публичность, которой печатный текст обладал с самого начала.

Сама двусмысленность слова *engrossed* тоже примечательна. В Средние века оно приобрело и второе значение — «скупить весь запас какого-либо товара с целью установить монополию».

Engrossing в обоих значениях был пережитком эпохи монополий — монополии на знание и на власть. Печатное слово возвестило новую эпоху — не присвоения, а **распространения**.

Историческим — и, возможно, первым — примером политических последствий книгопечатания стало создание, обсуждение и принятие нашей Конституции. Трудно представить, чтобы пятьдесят пять участников Конституционного конвента могли выполнить свою работу без печатного станка. Но ещё труднее представить, как без печати население тринадцати недавно ставших независимыми колоний, растянувшихся от побережья Атлантики на полторы тысячи миль в глубь материка, могло бы сосредоточиться на одном документе и разумно его обсуждать.

Федералист и другие классические произведения политической полемики вокруг Конституции были одновременно и плодом, и побочным следствием печатного станка. Разумеется, именно печатная версия Конституции стала общим и общедоступным предметом этих споров.

К сожалению, Данлапу и Клейпулу пришлось ждать пять лет, прежде чем новое правительство расплатилось с ними. Возможно, они проявляли терпение потому, что с самого начала рассчитывали заработать на общественном любопытстве — ведь всем хотелось узнать, чем именно занимался этот чрезвычайно закрытый, но широко обсуждавшийся конвент.

Конституционный конвент был, по меткому выражению Джеймса Хатсона, «необычайным опытом конфиденциальности». Поразительно, но сколько-нибудь серьёзных утечек не произошло.

В нашу эпоху законов об «открытости», когда почти любой закрытый разговор в государственных учреждениях способен стать газетным заголовком или сюжетом вечерних новостей, раздражённые бюрократы предпочитают называть такие

законы не *sunshine laws*, а *sunburn laws* — «законами о солнечном ожоге». Когда любой совет превращается не в камерное место обсуждения, а в публичное сито, невольно задаёшься вопросом: смог бы Конституционный конвент совершить свой несравненный труд, если бы его участники спорили перед журналистами, телекомментаторами и публикой, жаждущей конфликта и сенсации?

Те же создатели Конституции, которые скрупулёзно соблюдали клятву о тайне во время обсуждений, проявили замечательное демократическое стремление сделать конечный результат, по выражению Джорджа Вашингтона, **«предложением народу»** — широко его обнародовать. Тайна обсуждения и публичность последующей дискуссии не противоречили, а дополняли друг друга.

На протяжении столетий исторические условия неизбежно ограничивали круг тех, кто мог участвовать в политическом обсуждении. До распространения грамотности доступ к прежним классическим актам конституционной истории имела лишь небольшая образованная прослойка.

Великую хартию вольностей 1215 года, например, в своё время могла обсуждать лишь ничтожная доля британцев — и даже баронов. Она была написана на латыни, учёном иностранном языке, сохранилась в нескольких различавшихся друг от друга рукописных «оригиналах» и вошла в британскую конституционную традицию скорее через пересказы и слухи, чем через непосредственное ознакомление публики.

Великая традиция британской «неписаной» Конституции оставляла знание и проверку прав британцев судьям и юристам, а не самому обществу.

Конституция Соединённых Штатов открыла новую эпоху в истории конституций не только потому, что ясно определяла полномочия сбалансированного представительного

правительства, но и потому, что родилась в **публичном пространстве печатного слова**.

Широко грамотный народ мог прочесть и оценить те самые слова, по которым ему предстояло жить.

Конституция, вышедшая из Филадельфийского конвента в середине сентября 1787 года, по словам Джеймса Мэдисона, «была не более чем проектом плана, мёртвой буквой, пока голос народа, выраженный через конвенты отдельных штатов, не вдохнул в неё жизнь и законную силу».

«Запрет на разглашение снят. Членам выданы печатные экземпляры», — записал делегат Макгенри в дневнике 17 сентября 1787 года. — «Господа члены конвента вместе обедали в City Tavern».

Около четырёх часов дня конвент окончательно завершил работу — *sine die*.

Секретарь Джексон должен был доставить экземпляры Конституции Континентальному конгрессу, к тому времени Конгрессу Конфедерации, заседавшему в Нью-Йорке. В ту ночь Данлапу и Клейпулу пришлось в спешке внести небольшие исправления, утверждённые на последнем заседании, чтобы успеть отпечатать экземпляры к дилижансу на Нью-Йорк, отправлявшемуся в десять утра.

Всего час спустя делегаты Пенсильвании должны были представить документ собственному законодательному собранию.

На следующий день во второй половине дня Джексон прибыл в Нью-Йорк с рукописным оригиналом и печатными экземплярами.

20 сентября Конституцию прочли в Континентальном конгрессе.

Теперь наконец общество могло узнать, чего достигли пятьдесят пять делегатов, четыре месяца работавшие за закрытыми дверями.

Печатный станок должен был сообщить об этом народу — и **оживить Конституцию.**

Бесценное исследование Леонарда Раппорта о первых изданиях Конституции позволяет проследить, какую роль печать сыграла в последовавшей общественной дискуссии.

Без широкого распространения печатного текста Конституция, возможно, всё же была бы ратифицирована необходимыми девятью штатами. Но сам акт никогда не приобрёл бы того авторитета, который обеспечила ему обильная печатная огласка.

Антифедералисты имели вполне убедительные основания утверждать, что конвент вышел за пределы своих полномочий. Антифедералистские настроения были широко распространены.

Если бы копии Конституции не разошлись повсюду — а как иначе это можно было сделать, если не печатью? — подозрения, будто федералисты пытаются подавить сопротивление скоростью и неожиданностью, получили бы серьёзные основания.

Но в действительности полные и точные печатные экземпляры Конституции, распространяемые газетами во всех штатах, делали почти невозможным утверждение, будто кому-то не дали возможности возразить.

Разумеется, избирательное право тогда было значительно уже, чем сегодня. Но со временем грамотность и печатное слово сыграют свою роль и в изменении этого положения.

Таким образом, широкое распространение печатного текста новой Конституции с самого момента принятия формы

правления задавало тон справедливости и порядочности — и одновременно провозглашало **право возражать**.

Стоит ли удивляться, что Джефферсон, которому впоследствии немало доставалось от прессы, осмелился сказать:

«Поскольку основой нашего правительства является мнение народа, нашей первейшей заботой должно быть сохранение этого права; и если бы мне пришлось выбирать между правительством без газет и газетами без правительства, я ни мгновения не колебался бы и предпочёл последнее».

К несчастью, американцы конца XX века увидели трагическое подтверждение мысли Джефферсона в великих странах, обладавших могущественными правительствами, но лишённых свободной прессы.

Они увидели: без свободы печати невозможно и **«согласие управляемых»**.

В сентябре и октябре 1787 года американцы узнавали о предлагаемой Конституции главным образом из газет.

Как показал Леонард Раппорт, экземпляры, отправленные штатам для официального представления их ратификационным конвентам, фактически были изготовлены в форме газетного приложения.

В Нью-Йорке выходивший дважды в неделю *Independent Journal*, издателем которого был Джон Маклин, убеждённый сторонник новой Конституции, обычно отдавал рекламе три из четырёх страниц, оставляя для новостей лишь одну.

Чтобы напечатать полный текст Конституции, пришлось бы отказаться от рекламы.

Поэтому Маклин выпустил Конституцию целиком отдельным четырёхстраничным **Приложением к Independent Journal**, датированным субботой, 22 сентября.

Чтобы исправить ошибки и пропуски, он трижды перерабатывал приложение, а в четвёртую редакцию включил также резолюции Конгресса от 28 сентября и письмо, которым отчёт конвента направлялся штатам.

Экземпляры этой четвёртой версии Приложения, заверенные Чарльзом Томсоном, секретарём Континентального конгресса, сохранились в официальных архивах Нью-Йорка и Северной Каролины.

Именно по этому печатному тексту конвенты штатов обсуждали Конституцию и голосовали.

Есть все основания назвать это приложение к выходившей два раза в неделю газете **«печатным архетипом Конституции»**.

В новую эпоху типографского слова подлинность и авторитет государственных актов определялись уже не уникальностью рукописного экземпляра, спрятанного где-то в архиве, а **публичностью печати**.

Газетные издатели проявляли серьёзность, энергию и изобретательность, стараясь утолить жажду читателей получить настоящий текст того, что создал столь скрытный конвент.

26 сентября Бенджамин Рассел, издатель *The Massachusetts Centinel*, опубликовал Конституцию целиком и похвастался перед читателями:

«Следующее ЧРЕЗВЫЧАЙНО ИНТЕРЕСНОЕ и ВАЖНОЕ сообщение было получено почтой поздно вечером вчерашнего дня; горячее желание удовлетворить подписчиков *Centinel* и публику вообще заставило редактора приложить все силы, чтобы оно появилось уже сегодня; и, несмотря на его объём, он счастлив напечатать его целиком и без сокращений для удовольствия читателей».

Даже прибыль не становилась для издателей непреодолимой преградой.

28 сентября еженедельная *Winchester Virginia Gazette*, обычно получавшая от рекламы от шести до восьми долларов за номер, отказалась от всей рекламы, кроме одного объявления стоимостью семьдесят пять центов, чтобы освободить место для полного текста Конституции.

New York Journal от 27 сентября извинилась перед читателями за то, что опустила «ряд объявлений, статей и заметок... чтобы уступить место Федеральной Конституции».

То же сделала и *Providence United States Chronicle*.

Разумеется, печатному слову требовалось время, чтобы охватить всю страну.

На Северо-Востоке и в Новой Англии газетные версии множились стремительно, но южнее Виргинии печатный текст появился лишь во вторник, 2 октября.

Это был экстренный выпуск — приложение к выходившей два раза в неделю чарлстонской *Columbian Herald*. Экземпляр текста доставил корабль, потративший на путь из Филадельфии одиннадцать дней.

А на далёкой границе, «в городе Лексингтоне, округ Кентукки», еженедельная *Kentucke Gazette* Джона Брэдфорда напечатала полный текст Конституции в трёх выпусках начиная с 20 октября.

Издатели прибегали к самым разным способам.

Norwich Packet в Коннектикуте напечатала текст в двух частях.

Издатель *New-York Morning Post* и *Hutchins Improved Almanack for 1788* объявил в своей газете, что полный четырёхстраничный текст Конституции будет помещён в альманахе, поскольку «чрезвычайно желательно», чтобы каждый имел экземпляр

предложенной Конституции, и «желающие приобрести её теперь имеют такую возможность, да ещё и с Альманахом в придачу».

Другие печатали Конституцию в виде листовок и брошюр.

Если учесть объём Конституции — более пяти тысяч слов, стоимость ручного набора, нехватку бумаги и небольшой формат тогдашних газет, столь быстрое предоставление публике полного текста столь сложного документа свидетельствует о впечатляющем чувстве гражданского долга.

Из примерно восьмидесяти газет, выходивших тогда в колониях, к 6 октября — всего через двадцать дней после закрытия конвента — по меньшей мере пятьдесят пять уже напечатали Конституцию полностью.

К концу октября их число выросло примерно до семидесяти пяти.

Ещё до того, как Делавэр — первый штат — собрал свой ратификационный конвент 3 декабря, число отдельных публикаций Конституции в газетах и других форматах, по подсчётам Раппорта, превысило **сто пятьдесят**.

Мы никогда не узнаем точно, сколько раз полный текст Конституции был напечатан до её ратификации.

Тиражирование посредством печати сделало знание как никогда прежде **неконтролируемым, неисчислимым и неподотчётным**.

Распространение печати наглядно демонстрировало загадочную силу знания и его почти мистическую способность умножаться по мере распространения.

В свободном американском обществе печатный станок позволял гражданину получать доступ к важнейшим общественным фактам в частном порядке и тогда, когда ему удобно.

В отличие от единственного рукописного документа, доступ к которому можно контролировать, печатные экземпляры разлетались по ветру.

Никто уже не мог знать наверняка, кто что прочёл, когда прочёл и какой смысл каждый читатель вынес из текста.

Множащиеся экземпляры проекта Конституции стали символом открывающегося общества, в котором со временем каждый получит право **знать и судить о государственных делах**.

Появление в середине XX века в наших словарях советского слова «самиздат», обозначавшего тайно распространявшиеся «опасные» печатные тексты, стало тревожным напоминанием: государства способны отступить от современной эпохи свободного публичного слова обратно в тёмные времена, когда общественные документы переписывались лишь для избранных.

Знаменитое замечание Томаса Карлейля о том, что искусство книгопечатания «распускает наёмные армии, отправляет в отставку большинство королей и сенатов и создаёт совершенно новый демократический порядок», сегодня уже не кажется банальностью.

История принятия нашей Конституции как никогда ясно напоминает: наш государственный строй родился из **свободы печатать и свободы читать**.

Публичность печатной дискуссии вокруг Конституции несла ещё одно важное историческое послание.

Пока Данлап, Клейпул и Маклин печатали и исправляли одну редакцию текста за другой, всем становилось очевидно: эти слова созданы **людьми, способными ошибаться**.

Исчезал запах святости, растворялась аура божественности и исторической неизбежности, которыми деспоты во все времена окружали законы, служившие их собственным интересам.

Людям напоминали, что именно они ответственны за свои законы и что именно в их силах создавать и изменять собственную Конституцию.

То, что создали люди, люди же могут и улучшить.

Прямо предусмотренная возможность внесения поправок — характерная американская черта — оказалась важнейшим условием долговечности нашей Конституции.

Печатаемая Конституцию, люди вновь и вновь убеждались: их законы — не порождение некоей священной юридической руки, выводящей торжественные буквы на единственном рукописном экземпляре, а результат **общедоступного знания и общественного согласия относительно того, что может быть известно каждому.**

Публичная печать — прежде всего газетная — была самым ясным свидетельством того, что государственные учреждения всего лишь человеческие создания, а значит, всегда могут быть улучшены и потому никогда не лишены возможности стать лучше.

С этой надеждой звучат мудрые слова Бенджамина Франклина, произнесённые в конце Конституционного конвента:

«Поэтому, сэр, я соглашаюсь с этой Конституцией — потому что не ожидаю лучшей и потому что не уверен, что эта не является лучшей. Своё мнение о её недостатках я приношу в жертву общему благу...

И потому я надеюсь — ради нас самих, как части народа, и ради наших потомков, — что мы искренне и единодушно будем рекомендовать эту Конституцию повсюду, где может сказаться наше влияние, а все наши дальнейшие мысли и усилия обратим на то, чтобы обеспечить её хорошее исполнение».

7. РОЛЬ ПРЕЗИДЕНТСКОЙ РЕЗИДЕНЦИИ

Демократии — и особенно наша, американская, — при всех своих достоинствах заметно бедны ритуалами. Между тем ритуал, публичное церемониальное утверждение общности, удовлетворяет потребность, существующую в любом обществе. В нашей стране единственный ритуал, прямо предусмотренный Конституцией, — инаугурация президента. Уже это говорит об особой, именно демократической ауре, окружающей президента. И как эта аура сопровождает его инаугурацию — торжественное вступление в должность единственного государственного служащего, избираемого всем народом, — так она окружает и его резиденцию.

Только время способно обогатить ритуал и наполнить его смыслом. А именно этого ресурса Соединённым Штатам особенно не хватает. Но в нашем демократическом обществе Нового Света роль ритуала может играть — и действительно играет — архитектура. Она способна на это потому, что обладает многими свойствами ритуала:

1. Она структурирована.
2. Она может быть драматичной.
3. Она создаёт повторяющийся опыт, связывающий нас с прошлым.
4. Она общественна: подчёркивает и воплощает отношения людей друг с другом и с их общим прошлым.
5. Она допускает украшение, обновление и тонкие перемены.
6. Она долговечна и способна пережить многие поколения.

Есть у архитектуры и преимущество перед ритуалом: чтобы воздействовать на человека, ей не требуется ни жречество, ни

даже главный человеческий исполнитель. Её независимость от конкретной личности утверждает первенство общества и созданного им института над интересами любого отдельного лидера или поколения. В отличие от ритуала архитектура ещё и напоминает о материальных основаниях общности.

В некоторых особенно заметных отношениях наша своеобразная история придала архитектуре необычайно выразительную роль. Американская мобильность, например, ярко воплотилась в первом по-настоящему характерном типе нашего жилого строительства. И это была не бревенчатая хижина, которая представляла собой всего лишь новосветский вариант старой шведской конструкции. Это был дом с лёгким каркасом — *balloon frame*.

Эта американская конструкция, которую можно было быстро возвести и столь же быстро разобрать, чтобы перенести в другое место, представляла собой каркас из досок, сколоченных гвоздями. Её придумали на американском Западе для нетерпеливых и честолюбивых людей, которые сегодня могли жить в Чикаго, а завтра захотеть перебраться в Омаху — и дальше. Особенно заметно она появилась в Чикаго в 1833 году и впоследствии прекрасно отвечала американской потребности строить быстро, не располагая старосветскими навыками столяров, плотников и краснодеревщиков, привыкших к соединениям на шипах и пазах. Именно этой конструкции суждено было стать прообразом американского пригорода.

В западных поселениях, населённых людьми, постоянно куда-то двигавшимися и горячо рекламировавшими будущее своих городов, архитектура давала и заметные символы местной гордости, соперничества, гостеприимства и размаха. Одним из самых характерных и примечательных американских архитектурных символов стал отель — знак рождения и оптимистического духа новых городов, возникавших по всему

континенту. Его дополняли другие быстро возводимые памятники местной гордости — здания окружных судов и грандиозные капитолии штатов. А во второй половине XIX века катастрофы вроде Чикагского пожара 1871 года, соединившись с коммерческими возможностями, подтолкнули американских предпринимателей к созданию совершенно особых «соборов торговли» — небоскрёбов. Они стали символами безграничного устремления ввысь технологически вдохновлённой демократической нации.

Но архитектура несла и политическое значение, и политическую символику. Блестяще это показал во время Второй мировой войны Уинстон Черчилль — в своих наблюдениях, которым, на мой взгляд, уделяли слишком мало внимания.

После того как 10 мая 1941 года немецкая бомба попала в здание Палаты общин, начались споры о том, как её восстанавливать. Палата имела продолговатую форму, и некоторые предлагали перестроить её полукругом. Черчилль решительно возражал. Он настаивал на сохранении старой прямоугольной формы, в которой палата была восстановлена после пожара 1834 года.

Как всегда, доводы Черчилля были интересны и исходили из общих принципов. Он объяснял, что поддерживает партийную систему правления — в противоположность тому, что называл системой «групп». В полукруглом зале, говорил он, «человеку легко постепенно и почти незаметно перемещаться слева направо; но пересечь пол [прямоугольной палаты] — поступок, требующий серьёзного размышления».

Черчилль также настаивал, чтобы новое помещение не было слишком большим: «небольшая палата и ощущение близости совершенно необходимы». Удивительно, но он даже утверждал, что восстановленная Палата общин «не должна быть настолько

большой, чтобы вместить всех её членов одновременно без тесноты, и не следует предусматривать отдельного постоянного места для каждого депутата». Иначе, говорил он, девять десятых времени дебаты будут проходить «в унылой атмосфере почти пустого или полупустого зала».

Такое устройство было необходимо для сохранения традиционной атмосферы Палаты, которая, по словам Черчилля, «поднимала наши дела из механической сферы в человеческую». Это замечание вполне можно отнести и к нашему Белому дому.

Но, во всяком случае, утверждал Черчилль, Палату общин следовало восстановить как можно быстрее — на прежнем фундаменте и в прежних размерах. Нельзя было допустить, чтобы у Палаты не оказалось собственного места для заседаний. «Я ставлю Палату общин, — провозгласил он, — самое могущественное собрание во всём мире, по меньшей мере в один ряд с укреплением или линейным кораблём даже в военное время».

Неотразимое красноречие Черчилля убедило коллег, что только такое здание способно придать парламентской деятельности «ощущение Толпы и Срочности». И завершил свою речь неизменно красноречивый Черчилль благодарностью Палате лордов, позволившей общинам заседать в её «просторном великолепном зале... под этой позолоченной, украшенной орнаментами и статуями крышей».

И особенно интересно для нашей темы, что закончил он словами:

*Средь дворцов и наслаждений скитаться можем мы,
Но скромн дом или богат — милее дома нет.*

Конечно, нам едва ли хотелось бы, чтобы резиденция президента внушала то самое «ощущение Толпы и Срочности»,

которого Черчилль добивался от Палаты общин. Скорее мы предпочли бы ощущение близости и непринуждённости. Но сказать можно гораздо больше. Наш Белый дом — дом нашего президента — подобно Палате общин несёт и способен продолжать нести особые смыслы для общества и государственного устройства.

Совсем недавно я особенно живо вспомнил об этих смыслах, посетив другой ансамбль зданий, насыщенный историей и долго служивший резиденцией главы государства. Он тоже получил название по своему цвету. И благодаря резкому контрасту с ним мы, возможно, лучше поймём смысл нашего Белого дома.

Это знаменитый Красный дом — Альгамбра. Название происходит от арабского слова «красный» — цвета высушенных на солнце кирпичей из мелкого гравия и глины, из которых сложены наружные стены. Построенная на холме у окраины Гранады на юге Испании, Альгамбра служила официальной резиденцией насридских правителей Гранады около двухсот пятидесяти лет — приблизительно с 1240 по 1492 год, то есть на полвека дольше, чем Белый дом пока прослужил резиденцией наших президентов.

При дворе Альгамбры находилось около двух тысяч слуг и придворных — несколько больше, чем 1575 сотрудников Исполнительного управления президента по последним подсчётам, включая 88 работников самой резиденции. Подобно Белому дому, Альгамбра одновременно была и служебным помещением, и жилищем. И хотя Альгамбра поражает своими масштабами, территория Белого дома тоже не мала — около восемнадцати акров.

Кого-то может возмутить сравнение дворца абсолютного мавританского властителя с домом нашего всенародно избранного и конституционно ограниченного президента. Но именно разительный контраст между функциями этих двух

архитектурных метафор помогает яснее увидеть особую роль Белого дома.

Когда я бродил по легендарным залам, стенам, башням и садам экзотической Альгамбры и наслаждался её очарованием, она всё больше казалась мне яркой и выразительной метафорой того, **чем Белый дом не является**.

На контрасте Альгамбра особенно отчётливо высветила три простые и главные черты президентской резиденции — а вместе с ними и всего нашего государственного устройства.

Первая, самая очевидная и, возможно, самая американская из них — **доступность**.

Альгамбра, подобно многим другим резиденциям властителей, — дворец внутри крепости. Правителям Старого Света приходилось защищаться от внешних врагов, соперничающих князей и недовольных подданных, поэтому вполне естественно, что они укрывали себя и двор за высокими стенами и рвами, под охраной мощных укреплённых башен. Хорошо знакомый пример — Виндзорский замок, укреплённая королевская резиденция ещё со времён саксов, приблизительно с IX века.

Потребность в подобной защите прекрасно видна и в Альгамбре, где изящный, почти кружевной королевский дворец поддерживается массивными стенами и башнями Алькасабы — примыкавшей военной крепости, неоднократно разрушавшейся и восстанавливавшейся. Неудивительно, что тревожные абсолютные властители предпочитали жить во дворце-крепости.

И столь же естественно, что наш избранный президент, живущий в доме, который граждане считают своим даром и своей собственностью, должен чувствовать себя среди народа свободно и позволять людям входить в свой дом.

Где ещё обычный гражданин может обратиться к своему избранному представителю и получить билет, позволяющий войти и осмотреть действующую резиденцию главы государства и правительства?

Каждый раз, проезжая мимо Белого дома и видя очередь американцев всех возрастов, не обладающих никаким особым статусом и ожидающих возможности осмотреть дом, предоставленный ими своему избранному главному государственному служащему, я вновь вспоминаю, насколько необычны наши американские институты.

В другие эпохи и в других странах королевские резиденции ревниво охранялись от престонародных глаз и грязных башмаков толпы.

Белый дом, напротив, подчеркнуто **общественная резиденция**, что некоторым его обитателям приходилось открывать для себя с раздражением.

Президенты по-разному переносили неудобства жизни в публичном здании. «Казалось, за ужином у нас всегда кто-нибудь сидит», — жаловался президент Трумэн.

А президент Рейган признавался: «За неделю начинаешь немного сходить с ума от замкнутого пространства», но добродушно добавлял, что жизнь в Белом доме напоминает ему молодость: «Вот я снова, — говорил он, — как будто живу над магазином».

Те же, кому так и не довелось там поселиться, утешали себя представлением о связанных с этим тяготах. Генералу Уильяму Т. Шерману принадлежит часто цитируемая шутка: «Если бы мне пришлось выбирать между четырьмя годами в тюрьме и четырьмя годами в Белом доме, я бы сказал: тюрьму, благодарю вас».

Другая черта, слишком легко забываемая, но воплощённая в Белом доме, — **цивилизованность политических отношений**.

Подобно тому как заседания обеих палат нашего Конгресса обычно отличаются удивительной сдержанностью — без швыряния чернильниц и выкрикивания оскорблений, известных парламентам некоторых других стран, — так и наши президенты, за редкими исключениями, относились к своим противникам и встречали с их стороны известную меру сдержанности и приличия.

Англо-американский поэт У. Х. Оден однажды заметил, что самая поразительная особенность американских президентских выборов состоит в том, что вечером после голосования ни один из кандидатов — победитель или проигравший — не начинает собирать чемоданы, чтобы покинуть страну.

Так происходит далеко не после всех президентских выборов в мире.

Но политическая цивилизованность оставалась прочной американской традицией, воплощённой в самой жизни президента в Белом доме.

Об этом мне напомнил один драматический эпизод из истории Альгамбры — назидательная, хотя и экзотическая история контраста, которую едва ли забудет посетитель дворца.

Она связана с одним из самых живописных помещений — так называемым Залом Абенсеррахов, ведущим к знаменитому и непревзойдённому по изяществу Львиному двору.

По легенде, жестокий король Боабдиль где-то в 1480-х годах пригласил тридцать шесть вождей соперничающего рода Абенсеррахов на пир примирения. Но воспользовался случаем, чтобы избавиться от них: всем тридцати шести отрубили головы.

Затем головы бросили в центральный бассейн под мавританским потолком с фантастическими сталактитами и изящным куполом-фонарём в форме звезды.

Красные пятна, которые и сегодня видны в бассейне, одни объясняют оксидом железа в мраморе, другие — неистребимыми следами крови обезглавленных.

Некоторые историки приписывают эту резню не Боабдилю, а его отцу, однако в основе легенды, по-видимому, всё же лежит реальное событие.

При всей ожесточённости американской партийной борьбы коридоры Белого дома оставались почти совершенно бескровными.

В 1814 году его сожгли британцы, после чего в следующем десятилетии восстановили и расширили. И хотя несколько американских президентов были убиты, ни одно из покушений не произошло ни в Белом доме, ни даже поблизости.

Единственным знаменитым случаем заметного беспорядка в президентской резиденции остаётся хорошо известный инаугурационный приём президента Эндрю Джексона в марте 1829 года.

Как живо рассказывает Уильям Сил, в тот день Демократия буквально ворвалась в Белый дом.

Толпа, хлынувшая в овальную гостиную, прижала президента Джексона к стене так, что он начал задыхаться. Несколько друзей сообразили помочь ему выбраться через окно на южный портик, затем спуститься вниз и отвезли его в гостиницу Гэдсби, где он до того жил.

Washington City Chronicle невозмутимо заметила, что «гостеприимство президента в данном случае было до некоторой степени употреблено не по назначению».

Жертв не было, зато весьма пострадали «достоинство президентской власти и характер нации».

«Но это был день Народа, — записал один свидетель, — президент принадлежал Народу, и Народ намеревался

властвовать... Шумная и беспорядочная чернь в Президентском доме напомнила мне описания толпы в Тюильри и Версале».

Но не было ни обезглавливания, ни гильотины, и даже подобный сравнительно безобидный беспорядок, устроенный жаждущими вашингтонцами, больше не повторился.

Он остался всего лишь ещё одним примером необыкновенной открытости президентской резиденции в условиях демократии.

Этот необычный эпизод указывает ещё на одну постоянную черту архитектурной символики Белого дома.

Я уже назвал доступность и цивилизованность.

Третья — **представительность**.

По сравнению с официальными резиденциями прославленных глав других великих государств Белый дом — место довольно прозаическое.

В своих *Рассказах об Альгамбре* (1832) Вашингтон Ирвинг (1783–1859), которого иногда называют первым американским писателем, добившимся международной известности, создал небольшую американскую классику, украсив историю и легенды знаменитого Красного дома королей.

Главы этой книги, большей частью написанные в комнате королевского дворца Альгамбры, и сегодня поражают поэтической атмосферой зданий, архитектуры, убранства и их истории.

Наблюдая, как «угасает дневной свет над этим мавританским сооружением», Ирвинг писал, что задумался «о лёгком, изящном и чувственном характере, господствующем во всей его внутренней архитектуре, и противопоставил его величественной, но мрачной торжественности готических сооружений, воздвигнутых испанскими завоевателями. Сама архитектура, таким образом, говорит о противоположных и

непримиримых характерах двух воинственных народов, так долго сражавшихся за господство над полуостровом».

Не меньше вдохновляла Ирвинга и Альгамбра в лунном свете: «Я часами сидел у окна, вдыхая аромат сада и размышляя о переменчивой судьбе тех, чья история едва угадывается в изящных памятниках вокруг».

Белый дом уже два столетия стоит в грамотном городе, полном бесчисленных писателей, в мире, судьбы которого во многом определяли люди, жившие в президентском доме.

Но аналога книге Ирвинга у нас так и не появилось.

У нас нет *Рассказов о Белом доме*.

И вряд ли появятся.

Причина кроется в главной особенности этой сугубо американской архитектурной метафоры — в том, что я называю её **представительностью**.

Наша политическая система устроена не для того, чтобы вручать власть людям харизматическим, а для того, чтобы страной управляли люди представительные.

И Белый дом показывает нации президента и его семью, ведущих жизнь, не столь уж отличающуюся от нашей.

Картина весьма прозаическая — но она возвышает нас, граждан, напоминая, что президент по сути ведёт такую же человеческую жизнь, как и мы, лишь в обстановке не роскошной и ослепительной, а просто величественной и удобной.

Некоторые особенно наблюдательные обитатели Белого дома замечали, насколько президентский дом похож на дома всех остальных.

Жаклин Кеннеди, размышляя о предстоящем переезде семьи в Белый дом, заметила: «Похоже, его обставляли мебелью из магазинов распродаж».

После того как она поселилась там, проницательный журналист написал, что «она превратила Белый дом из пластмассовой чаши в хрустальную».

Достоинство и сдержанность повседневной жизни в президентском доме способны передаваться окружающим.

То, что особенно заметно гражданам, напоминает нам не столько о величии президентской жизни, сколько о её обыденности: любовь к детям и внукам, к собакам, ужин в День благодарения, рождественская ёлка, семейные дни рождения.

Даже Уолта Уитмена эта обыденность не сумела бы вдохновить, и Белый дом остаётся самым прозаическим из наших национальных памятников.

Выражая открытость американской общественной жизни — с удобным помещением для прессы, в обществе, где законы об открытости дают гражданам право знакомиться с государственными документами, — Белый дом также символизирует характерное для демократии нежелание проводить жёсткую границу между публичным и частным.

Пока президент занимает свой пост, мы ожидаем, что Белый дом будет его настоящим домом — местом семейной жизни.

Постоянный публичный взгляд на президентскую повседневность обеспечивает официальный фотограф президента.

Работы замечательного Ёити Окамото, например, дали обществу беспрецедентно подробный и полный образ жизни президента.

Журналисты тоже превратились в неотъемлемую часть «семьи» Белого дома — символом этого стали удобства, созданные для них в пресс-центре, который один репортёр недавно назвал «детским садом для взрослых».

Поскольку наш президент одновременно является и главой государства, и главой правительства, перед проектировщиками возникали особые символические задачи.

Само расположение президентского дома оказалось удачным выражением наиболее очевидных особенностей нашего конституционного устройства.

И здесь Америка вновь отличается от Великобритании или Франции, где глава государства — отдельная, главным образом церемониальная фигура.

Когда президент Вашингтон и майор Ланфан выбрали два господствующих участка в полутора милях друг от друга — один для здания Конгресса на Капитолийском холме, другой для президентского дома, — они пространственно воплотили закреплённое Конституцией **разделение законодательной и исполнительной власти**.

В Филадельфии, где федеральное правительство находилось до переезда в Вашингтон, подобной драматической символики не существовало.

Конгресс заседал по соседству с Индепенденс-холлом, всего в нескольких кварталах от президентского дома.

И после того как президент обращался с речью к Конгрессу, его члены пешком или в нанятых экипажах отправлялись в ближайший дом, где жил президент.

Такое устройство не выражало в должной мере ни разделения властей, ни торжественности самого момента.

Переезд в Вашингтон дал Пьеру Шарлю Ланфану (1754–1825) возможность спроектировать достойную столицу новой нации, за создание которой он сражался и был ранен, добровольно служа военным инженером за собственный счёт.

Ланфан взялся за поручение с воображением, энергией и всеми возможными достоинствами — кроме благоразумия.

Он не желал слушать советов. А когда обнаружил дом, стоявший на пути запроектированной им улицы, просто снёс его без всякого законного права.

К несчастью, дом принадлежал влиятельному гражданину, и этот, наряду с другими эксцессами, стал одной из причин увольнения Ланфана 27 февраля 1792 года.

Ланфан родился в Париже, и его представление о столицах складывалось под влиянием Версаля.

Даже крушение его надежд в конечном счёте выявило своеобразную роль президентского дома в конституционной демократии Нового Света.

Как отмечал Уильям Сил, Ланфан намеренно разместил законодательную и исполнительную власть на двух далеко разнесённых возвышенностях.

Вероятно, и Пенсильвания-авеню он задумал, имея в виду торжественные процессии европейских монархов по широким бульварам между рядами приветствующих их подданных, — как длинный парадный проспект, ещё сильнее подчёркивающий достоинство и обособленность президента от Конгресса.

Вероятно, перед мысленным взором Ланфана проходила процессия государственных карет, запряжённых богато убранными лошадьми и везущих целую череду важных сановников.

Но первое испытание проспекта после обращения президента Адамса к совместному заседанию Конгресса 22 ноября 1800 года получилось отнюдь не впечатляющим.

Конгрессмены с трудом пробирались к новому президентскому дому по морю грязи, кто в чём — главным образом в случайно нанятых на улице экипажах.

Позднее Конгресс даже принял закон о строительстве мощёной дорожки от Капитолия к президентскому дому.

Представленная Ланфаном грандиозная процессия после президентского обращения к обеим палатам так никогда и не состоялась.

Но его замысел всё же осуществился не полностью напрасно.

Его Великий проспект — Пенсильвания-авеню — действительно стал незабываемой сценой единственного подлинного американского политического ритуала: **инаугурации президента.**

Каждое новое поколение сохраняло в памяти собственный образ инаугурации благодаря зрелищу на этом проспекте — уходящий и вступающий в должность президент.

Какова будущая роль Белого дома в американской жизни и культуре?

На мой взгляд, сегодня его значение как исторического места и памятника нашим традициям важнее, чем когда-либо.

И с каждым новым достижением технологии оно становится всё необходимее.

Новые средства массовой информации последнего столетия постепенно размывают наше чувство места и времени.

«Это прямой эфир или запись?»

Когда?

Где?

Всё меньше мест и моментов сохраняют свою неповторимость, поскольку нас захлёстывают фотография, кино, телевидение, видеозаписи, документальные передачи и записанные сообщения.

И потому вопрос, который стоит перед нами сегодня, звучит так:

сможет ли Белый дом и впредь оставаться местом, которое успокаивает нас, наглядно связывая демократическое правление с живыми отдельными

людьми — со всеми их слабостями, человеческим теплом и непринуждённостью?

8. КАК СОЗДАВАЛСЯ КАПИТОЛИЙ

Нам повезло: у наших политических надежд и представлений есть изящная архитектурная метафора — национальный Капитолий. Британцам, с которыми нас связывает традиция представительного правления, повезло куда меньше. На протяжении большей части прошлого столетия Палаты парламента заседали в здании неоготического стиля — живописном, но не имеющем отношения к современности обращении к давно ушедшей эпохе, — восстановленном после разрушений немецких бомбардировок во время Второй мировой войны. Наш же Капитолий с самого своего возникновения остаётся блистательным символом и устремлений отцов-основателей, и способности представительного правления приспосабливаться к росту страны и развитию техники.

Капитолий, традиционная сцена единственного ритуала, предписанного нашей Конституцией, — президентской инаугурации, — стал свидетелем и символом преемственности. Он же придаёт порядок и достоинство нашей политической памяти, служа постоянной драматической декорацией для вновь и вновь повторяющегося общего опыта — заседаний Конгресса. И национальный Капитолий воплотил парадокс нации Нового Света, которая живёт по старейшей из ныне действующих писанных конституций — в здании, верно сохранившем вкусы и надежды своих создателей.

Правительство новой нации должно было разместиться в первом городе, специально построенном как столица государства. Избранный Джорджем Вашингтоном

градостроитель, родившийся во Франции Пьер Шарль Ланфан, как мы уже видели, мечтал о новом Париже — городе бульваров, далёких перспектив и парков, приправленном ещё и очарованием Версаля. По иронии судьбы его план породил столицу, совершенно не похожую ни на одну из столиц Старого Света. Одним из непредвиденных его достижений стало и создание пространства для национального Капитолия, которому не было прецедента.

Конституция 1787 года, в статье I, разделе 8, предоставила Конгрессу власть над особым столичным округом «площадью не более десяти квадратных миль, который вследствие уступки соответствующими штатами и принятия Конгрессом может стать местопребыванием правительства Соединённых Штатов». Убедительных доказательств того, что сам Джордж Вашингтон повлиял на эту формулировку, нет. Но его выбор района Потомака несомненно был связан с хорошим знанием местности вокруг семейного имения на берегах этой реки. Для Конгресса же связь района с именем Вашингтона была важна — возможно, даже решающая.

Выбор места на Потомаке напоминает, насколько радикально изменился масштаб национальных устремлений за последние два столетия. В эпоху медленных и утомительных сухопутных путешествий казалось само собой разумеющимся, что столица страны, состоявшей из атлантических колоний, должна находиться в портовом городе на Атлантике. Из возможных вариантов место на Потомаке в то время казалось особенно выгодным: оно открывало удобный путь к долине Огайо и дальше на Запад, куда, как ожидалось, будет расширяться страна. В 1784 году эта надежда обрела практическую форму с созданием Потомакской компании, призванной развивать внутреннее судоходство и получившей хартию и по 6666 фунтов стерлингов от Виргинии и Мэриленда.

Её первым президентом стал Джордж Вашингтон. Компания намеревалась собрать частный капитал для строительства каналов, которые связали бы Потомак с рекой Огайо. Таким образом, Потомак должен был стать своего рода штаб-квартирой устремлённой на запад молодой нации.

Учебники истории, оглядываясь на события через призму Гражданской войны, обычно подчёркивают, что выбор столицы был компромиссом между Севером и Югом и предвестием грядущего конфликта. Но нельзя забывать: в сознании тех, кто принимал решение и голосовал за Закон о резиденции 1790 года, гораздо большее место занимало будущее страны, расширяющейся на запад. Да и надежды самого Джорджа Вашингтона пользовались огромным уважением.

Когда трое комиссаров, назначенных Джорджем Вашингтоном, поручили Ланфану спланировать новый город и определить места для главных зданий, естественным участком для Капитолия стала возвышенность, известная тогда как холм Дженкинса. Ланфан назвал её «пьедесталом, ожидающим памятника». После увольнения высокомерного Ланфана в 1792 году комиссары объявили конкурс на проект здания для этого места. Победителю обещали пятьсот долларов и земельный участок в городе.

Выбрать место для Капитолия оказалось куда легче, чем определить, каким он должен быть. Возникшие трудности прекрасно показывают и проблемы, и возможности новой трансатлантической нации, удалённой от источников европейской культуры. Президент Вашингтон писал государственному секретарю Томасу Джефферсону, что Капитолий «должен быть по своему масштабу намного величественнее всего, что существует в этой стране». Только здание с куполом, настаивал Вашингтон, обладало бы требуемым величием и изяществом. В то время в Соединённых

Штатах ещё не существовало купольных зданий, так что Вашингтон мог видеть подобные сооружения лишь на рисунках. Тем не менее Купол уже превратился в популярную американскую метафору Конституции — «прекрасный Купол», венчающий «великое Федеральное сооружение», которое опирается на тринадцать штатов и одновременно защищает их. Восторженный поэт Бенджамин Рассел в «Рождении Колумбии» 1788 года уже представлял:

*Смотрите — ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КУПОЛ величаво ввысь
восходит!*

*На стройных колоннах поднят он,
на прочном основании стоящий незыблемо,
пока не завершатся бесчисленные счастливые круги времён,*

—

ХРАМ НЕБЕСНОЙ СВОБОДЫ!

Предостерегая против «расточительности» в государственных зданиях, рассудительный Вашингтон всё же хотел видеть «строгий план, достаточно вместительный и удобный не только для настоящего, но и для будущего, до которого мы разумно можем рассчитывать дожить». До нас дошло около шестнадцати конкурсных проектов Капитолия, но ни один не отвечал этим надеждам.

Необычайно разносторонний Томас Джефферсон активно участвовал в обсуждении. Он проектировал собственный дом в Монтичелло и незадолго до этого создал Капитолий Виргинии по образцу античного храма. Теперь Джефферсон предложил аналогичную концепцию одному из участников конкурса — французскому архитектору Стивену Халлету, жившему в Филадельфии. Но Халлету не удалось приспособить виргинский проект Джефферсона к более крупному масштабу

национального Капитолия. Тогда Джефферсон предложил сферическую композицию, самым совершенным образцом которой считал римский Пантеон, а наиболее подходящим для американского участка — парижский Пантеон. Джефферсон сам сделал несколько эскизов, однако и их Халлет не сумел превратить в удовлетворительный проект. И всё же основная схема — центральный купол и два крыла — впоследствии станет типичной для капитолиев американских штатов.

Исход конкурса на проект Капитолия оказался символичным. Победил вовсе не знаменитый архитектор, а любитель — тридцатитрёхлетний Уильям Торнтон (1759–1828), родившийся в общине квакеров на одном из Виргинских островов. Он получил медицинское образование в шотландских университетах, но никогда не практиковал. В 1788 году Торнтон стал американским гражданином, жил в Филадельфии и спроектировал там новое здание Библиотечной компании. Позднее он вспоминал с присущей любителю дерзостью, как создавал проект, получивший первый приз: «Во время путешествий я никогда не думал об архитектуре. Но достал несколько книг, поработал несколько дней и представил проект в древнем ионическом ордере — и он победил». Изобретательность Торнтон проявил ещё в 1778 году, когда начал сотрудничать с Джоном Фитчем над новаторским проектом пароходов с гребными лопастями. Третий пароход Фитча, получивший название *Thornton*, развивал скорость восемь миль в час и регулярно ходил по Делавэру до 1790 года. После широко разрекламированного успеха Фитча Торнтон опубликовал собственный *Краткий очерк происхождения пароходов* (1814), отстаивая право Фитча — и собственное — на признание.

Разносторонность Торнтона поражала. Талант рисовальщика и художника помогал ему убеждать окружающих

в достоинствах своих архитектурных проектов. Американское философское общество наградило его медалью за трактат об элементах письменной речи; после него осталось три неопубликованных романа. Он написал одну из первых работ по обучению глухих, участвовал в движении против рабства и пытался основать национальный университет в Вашингтоне. Среди самых грандиозных его замыслов был союз двух американских континентов со столицей близ Панамы и каналом, соединяющим два океана.

Первым по-настоящему грандиозным проектом, захватившим воображение Торнтона, стал новый Капитолий Соединённых Штатов. Услышав о конкурсе, он находился на Тортоле и оттуда написал комиссарам, предлагая привезти свой проект. Прибыв в Вашингтон и ознакомившись с попытками Халлета воплотить идеи Джефферсона, Торнтон создал новую версию. Когда президент Вашингтон выразил восхищение «величием, простотой и удобством» ещё незавершённого проекта, его принятие стало практически неизбежным. Джефферсон также похвалил работу Торнтона как «простую, благородную, прекрасную, превосходно организованную и умеренную по размерам». Торнтон получил пятьсот долларов и городской участок, а Халлету в качестве утешения выплатили такую же денежную сумму.

Но поскольку Торнтон не был ни профессиональным архитектором, ни строителем, руководство строительством поручили Халлету. Президент Вашингтон сожалел, что до принятия проекта никто должным образом не оценил ни его практичность, ни стоимость. Поэтому, чтобы ускорить строительство, он поручил государственному секретарю Джефферсону изменить план, сделав его осуществимым и менее дорогим. Под руководством Джефферсона проект Торнтона был «исправлен» и «приведён в практическую форму», после чего

Вашингтон и комиссары его утвердили и начались работы над фундаментом. 18 сентября 1793 года краеугольный камень заложил сам Вашингтон. Джефферсон, чьи архитектурные идеи воплотились в здании, но который не любил церемоний, на торжестве отсутствовал.

«Проект Торнтона», с самого начала являвшийся плодом подчеркнуто коллективного творчества, задал основные черты здания, сохранившиеся на протяжении следующих двух столетий: центральный купол, ориентированный на восток и запад, и два симметричных крыла, вытянутых к северу и югу. Этот простой исходный замысел удивительным образом пережил перемены архитектурных вкусов, смену нескольких архитекторов, нехватку средств, пожары, военный дефицит и разрушения — и оказался достаточно гибким, чтобы расширяться вместе со страной, ставшей во много раз больше.

Архитекторы, работавшие над Капитолием в течение этих двух столетий, дают своего рода краткую историю американской архитектуры до появления небоскрёба. Не представлен лишь стиль неоготики. Джефферсон пригласил архитектора-инженера Бенджамина Генри Латроба (1764–1820), одного из ведущих мастеров греческого возрождения, который помогал ему с деталями Капитолия в Ричмонде. Латроб построил Южное крыло и восстанавливал здание после того, как 24 августа 1814 года британские войска превратили его пожаром в «величественнейшую руину». Среди его новшеств была колонна с капителью в виде листьев табака. После ухода Латроба в 1817 году президент Монро пригласил Чарльза Булфинча (1763–1844). Его часто называют первым профессиональным американским архитектором. К тому времени он уже прославился проектом Капитолия штата Массачусетс в Бостоне, а его архитектура определяла облик общественных зданий Новой Англии. В годы работы архитектором Капитолия, с 1817 по 1830 год, Булфинч

спроектировал Ротонду, переработал множество деталей и в 1826 году завершил строительство Восточного портика.

К 1850 году расширение страны и нехватка помещений в Капитолии вынудили Сенатский комитет по общественным зданиям, председателем которого был сенатор от Миссисипи Джефферсон Дэвис, объявить конкурс проектов расширения. Приз снова составлял пятьсот долларов, но на этот раз без земельного участка. Явного победителя не нашлось, и деньги разделили между несколькими участниками. Для проектирования пристроек, на которые Конгресс первоначально выделил сто тысяч долларов, президент Миллард Филлмор назначил своего однопартийца-вига, филаделфийца Томаса У. Волтера (1811–1876). Сын каменщика и сам мастер кирпичной кладки, Уолтер обладал инженерным опытом и учился у Уильяма Стрикленда (1788–1854), мастера греческого возрождения. За годы работы архитектором Капитолия, с 1851 по 1865 год, Уолтер значительно расширил и перестроил здание, придав ему в основном современный облик.

Используя идеи других архитекторов, Уолтер создал два больших крыла, расположенных под прямым углом к существующему зданию и соединённых узкими коридорами с его северным и южным концами. Новые части также полностью сохраняли классическую традицию первоначального проекта.

Ритуальную символику Капитолия с характерной пышностью провозгласил Дэниел Уэбстер в двухчасовой речи на церемонии закладки краеугольного камня пристроек 4 июля 1851 года. Новые крылья, соединённые со старым зданием, символизировали новые штаты — Техас, Калифорнию, Нью-Мексико — и обещание новых присоединений, провозглашая, что Союз, подобно Капитолию, «да пребудет вечно!»

По иронии именно Джефферсон Дэвис — талантливый военный министр президента Франклина Пирса, а позднее

президент Конфедерации — ещё будучи сенатором способствовал выделению первых средств на расширение и теперь непосредственно руководил работами. Через решительного капитана Инженерного корпуса Монтгомери К. Мейгса Дэвис внимательно следил за строительством, заказывал произведения искусства и стремился придать интерьерам ещё больше изящества.

Искра из печи в канун Рождества 1851 года вызвала пожар, уничтоживший Библиотеку Конгресса в западной центральной части здания, — и, как ни странно, именно эта катастрофа вывела величественный Капитолий греческого возрождения на передний край американской технологии. Восстанавливая библиотеку, Уолтер создал первое в Америке помещение, полностью выполненное из огнестойкого чугуна. Библиотека оставалась там до 1897 года, когда переехала через улицу в элегантное здание неоренессансного стиля.

Пожар решающим образом повлиял и на величественный силуэт, и на дальнейший облик Капитолия: возникло опасение, что возгорание деревянного купола Булфинча однажды уничтожит всё здание. Уолтер воспользовался возможностью заменить, поднять и модернизировать старый купол. После появления новых крыльев купол Булфинча выглядел непропорционально маленьким; кроме того, он представлял пожарную опасность и протекал.

Для нового купола практичный Уолтер, воспитанный в неоклассической традиции, нашёл впечатляющие европейские образцы — собор Святого Петра в Риме, собор Святого Павла в Лондоне, Пантеон в Париже и Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге. У его радикального новшества — двойного купола — также имелся европейский прецедент в парижском Пантеоне.

Опираясь на возможности современной американской промышленности, смелый Уолтер понял, что двойной купол

позволит решить сразу несколько задач. Он представлял внутренний каменный купол внутри чугунного каркаса, который снаружи должен был быть облицован каменной кладкой в неоклассическом стиле. Так возник замысел высокого купола невиданного прежде величия и изящества. Заодно в Ротонде появлялось место для монументальной росписи на какую-нибудь великую американскую тему, которая могла бы покрыть внутреннюю чашу купола.

Как ни парадоксально, воплотить этот вдохновенный каменный монумент позволил именно **чугун**.

Старый фундамент Ротонды Булфинча не выдержал бы веса высокого купола из массивного камня. Но недавно освоенный чугун давал куда более лёгкий каркас, позволяя поднять новый купол значительно выше прежнего.

Некоторые конгрессмены и профессиональные архитекторы относились к идее скептически, а то и с негодованием: как можно заменить освящённый веками камень Греции и Рима вульгарным промышленным материалом?

Конгрессмен от Мэриленда возражал в Палате представителей, что хотя из железа, возможно, и получится «хороший купол», всё же «история мировой архитектуры не знает примера железного купола».

Но только что основанный Американский институт архитекторов услышал в ответ совершенно характерную для Америки защиту нового: «Очевидно, несправедливо и неразумно презрительно отвергать новые строительные материалы и новые конструктивные методы только потому, что они были неизвестны Фидию, Палладио или Уильяму Уикхемскому...» И далее: «Дешевизна железа, быстрота и лёгкость работы с ним... при современном состоянии общества делают этот металл особенно ценным средством народной архитектуры».

Конгресс не только одобрил железный купол — он торопил его завершение. Депутатов убедили дешевизна и скорость строительства: полностью каменный купол потребовал бы нового фундамента. К тому же в пору «всеобщего упадка железной промышленности» проект давал возможность предоставить «желанное облегчение большому числу нуждающихся, но достойных и трудолюбивых людей».

На новый купол ушло около девяти миллионов фунтов чугуна, большая часть которого была отлита в Бруклине, штат Нью-Йорк. Стоимость составила 1 047 291 доллар.

Несмотря на нехватку людей и материалов во время Гражданской войны, пятая и последняя секция бронзовой статуи Свободы работы Томаса Кроуфорда — высотой девятнадцать футов семь дюймов — была установлена 2 декабря 1863 года.

Когда Кроуфорд впервые представил проект статуи Свободы военному министру Джефферсону Дэвису в 1856 году, тот потребовал фигуру «куда более энергичную», и художник подчинился.

Дэвис также возразил против головного убора фигуры — «фригийского колпака свободы», который счёл «неуместным для народа, рождённого свободным и не предназначенного для рабства... поскольку это знак освобождённого раба».

Кроуфорд послушно заменил колпак «шлемом, гребень которого... составлен из орлиной головы и смелой композиции из перьев, навеянной одеждой наших индейских племён».

При строгом запрете на произнесение речей эта вооружённая Свобода, торжествующая в войне и мире, была освящена салютом из тридцати пяти орудий.

Купол был окончательно завершён в декабре 1865 года, когда Константино Брумиди закончил роспись **«Апофеоз Вашингтона»**.

На территории Капитолия мы до сих пор можем наслаждаться работой величайшего американского ландшафтного архитектора Фредерика Лоу Олмстеда (1822–1903). Он превратил территорию в общественный парк, украсил западную часть мраморной террасой (1886–1891) и тем самым создал великолепную площадку для инаугураций.

Когда в 1865 году Уолтер ушёл в отставку, его сменил помощник Эдвард Кларк, занимавший должность архитектора Капитолия с 1865 по 1902 год. Главным его достижением стала модернизация инженерных систем: в 1880-х годах газовое освещение постепенно заменили электрическим.

Но прежде чем газ окончательно исчез, взрыв в Северном крыле драматически показал необходимость заменить все ещё остававшиеся деревянные потолки стальными конструкциями.

Преемники Кларка — Эллиот Вудс (1902–1923) и Дэвид Линн (1923–1954) — занимались главным образом обновлением интерьеров, расширением помещений и устройством подземных парковок.

Внешний облик здания изменился, когда Восточный портик выдвинули вперёд на тридцать три фута, чтобы восстановить зрительное равновесие с устремлённым ввысь куполом; попутно это добавило около девяноста помещений.

Джордж М. Уайт, занимавший должность архитектора Капитолия с 1971 года, стал приводить здание в соответствие с новейшей техникой. В 1973 году в Палате представителей ввели электронное голосование, затем начались телевизионные трансляции заседаний Палаты представителей в 1979 году и Сената в 1986-м.

К двухсотлетию страны в 1976 году историческую роль Капитолия подчеркнули реставрацией старого зала Сената и старого зала Верховного суда.

Постоянные выставки документов и усовершенствованная работа с посетителями помогали людям лучше понимать значение здания. Разрушавшийся западный центральный фасад восстановили, заменив стены из песчаника и укрепив конструкцию стержнями из нержавеющей стали.

Наш национальный Капитолий удивительным образом выражает способность нации Нового Света принимать современную технологию, не отказываясь при этом от лучшего наследия западной культуры.

Способность первоначального проекта расширяться счастливо совпала со способностью самого Федерального союза принимать новые штаты, а Конституции — новые поправки.

Надежду создателей Конституции на новую нацию, которая исполнит и превзойдёт ожидания Старого Света, выразил сам Джефферсон.

В трудные времена, ещё до того, как величественная Ротонда соединила крылья Палаты представителей и Сената, он уже видел здесь:

«первый храм, посвящённый суверенитету народа, украшенный с афинским вкусом на пути нации, чья судьба устремлена далеко за пределы афинских судеб»

9. НЕАМЕРИКАНСКАЯ СТОЛИЦА

Вашингтон — город в высшей степени американский и в то же время самый неамериканский из всех наших городов. Созданный для нужд государства, он стал первой современной столицей, специально задуманной как национальная столица. Его центр притяжения и сама причина существования — правительство. В каком-то смысле это самый космополитичный из американских городов: на его улицах и в посольствах больших и малых стран можно услышать языки всего мира. И всё же это не город иммигрантов. Вашингтон соткан из противоречий. Его политическую атмосферу создают люди, которые рассчитывают пробыть здесь лишь временно, тогда как городскую культуру формирует благополучное население из тех, кто приехал сюда ради одного дела, а остался уже ради другого. Ирония в том, что прочную основу населения составляют люди, чьи предки были привезены сюда против собственной воли. Некоторые из «старейших семей» города — его чернокожие жители, составляющие большинство населения, — происходят от сорока тысяч освобождённых рабов, которые пришли сюда и остались после кровопролитной Гражданской войны.

При всей печальной известности из-за жестоких преступлений, наркотиков, уличных банд и подростковых беременностей Вашингтон обладает совершенно особым американским обаянием. Это город добродушной американской политики и необычайно богатой международной культуры. Здесь — изящно разбитые городские парки, извилистая дорога вдоль Рок-Крик, открытые перспективы и, пожалуй, самая насыщенная музеями эспланада в мире.

Сердце деловой жизни города — здания федерального правительства — ночью погружается во тьму, за исключением главных центров власти. Конгресс, заседания которого нередко продолжаются далеко за полночь, оставляет зажжённым фонарь на вершине Капитолия, а нынешнему обитателю Белого дома приходится всю ночь принимать звонки со всех концов света.

Вашингтон сам по себе почти не создаёт культуру, но располагает богатейшей в стране коллекцией её проявлений — в музеях искусства, истории, естественных наук, космоса и техники; здесь находится крупнейшая и самая разнообразная библиотека мира — Библиотека Конгресса; крупнейшая в мире библиотека Шекспира — Фолджеровская; Центр исполнительских искусств имени Кеннеди, где выступают лучшие оперные и балетные труппы и симфонические оркестры мира и где некоторые будущие бродвейские музыкальные и драматические хиты можно увидеть ещё до их появления на Бродвее.

Вашингтон — город парадоксов. Его трущобы редко попадают на глаза туристу. Здесь они не сосредоточены в многоэтажных муниципальных домах, возведённых в ходе «обновления городов», как во многих других местах. При высоком уровне преступности Вашингтон одновременно является столицей правоохранительной системы страны и местом пребывания Верховного суда. Вероятно, здесь больше юристов на душу населения, чем в любом другом городе мира, и, судя по всему, большинство из них вполне прибыльно занято.

Это город, где миллион государственных служащих погружён в бюрократическую повседневность: следит, чтобы всё шло своим чередом, выполняет привычную работу и уверенно движется к гарантированной пенсии. Но люди, которые отсюда управляют страной и придают городу его особый характер, — президент и его администрация — находятся у власти непрочно

и вынуждены постоянно заботиться о том, чтобы хорошо выглядеть, если хотят остаться ещё на один срок. Сенаторы и конгрессмены, чьи штаб-квартиры находятся здесь, практически всё время ведут предвыборную кампанию. Их настоящие корни — в другом месте, дома, в избирательных округах, и по выходным они лишь изредка остаются в Вашингтоне. Их должности зависят от мнений и прихотей людей, живущих за сотни и тысячи миль отсюда. И всё же эти вашингтонцы, почти всю прежнюю жизнь укоренённые где-то ещё, после поражения на выборах или ухода из исполнительной власти отчаянно ищут работу, которая позволила бы им остаться здесь: становятся лоббистами, адвокатами, консультантами по связям с общественностью, журналистами, телевизионными комментаторами — кем угодно. Устойчивый культурный и коммерческий тон города задают именно те, кто **«остался»**.

Это город компромисса. Здесь во всей полноте видна искусственность «федеральной» системы, где власть и влияние распределяются по жёсткой писаной схеме, но при этом сохраняется часть теплоты и обаяния старого американского Юга. Это город политического угодничества, демагогии и многословия — и одновременно место открытых политических столкновений, дружелюбных переговоров в бесчисленных комитетах и частых шумных демонстраций, куда выходят тысячи разгневанных протестующих, убеждающих и требующих. Здесь столько же заведений быстрого питания, сколько везде, но, пожалуй, больше дорогих ресторанов, где обеды оплачиваются по служебным счетам, чем где-либо ещё. Здесь непропорционально много отчаявшихся бездомных, особенно заметных зимой, когда они греются над решётками вентиляции в тротуарах. Но одновременно здесь множество учреждений милосердия: Галлаудетский университет — главное учебное заведение страны для глухих, «Дом Руфи» для женщин,

подвергшихся насилию, и незамужних матерей, а также не имеющие себе равных Национальные институты здравоохранения. И великолепный межконфессиональный Национальный собор, строительство которого наконец завершилось спустя восемь десятилетий. По-американски здесь соседствуют и конкурирующие университеты, особенно известные своими медицинскими школами и факультетами государственного управления. Удивительно и досадно, что в городе так мало по-настоящему больших книжных магазинов, — зато есть хорошая система публичных библиотек и Библиотека Конгресса.

Вашингтон — город компромиссов: само его положение между Севером и Югом стало результатом компромисса, заключённого в 1780-е годы между северными и южными основателями страны. И государственные дела здесь — на Капитолийском холме, в Белом доме и даже в Верховном суде — тоже во многом ведутся как искусство компромисса. Но одновременно это город, где национальные столкновения взглядов и интересов проявляются часто и весьма драматично. Проходя мимо Белого дома или поднимаясь по ступеням Капитолия, вы почти наверняка увидите транспаранты и плакаты с каким-нибудь крайним требованием, обращённым к президенту или Конгрессу. Надписи меняются — и редко доходят до тех, кому адресованы, — но их носители продолжают приходить, напоминая нам: здесь каждый имеет право высказаться, даже если никто его не слушает.

Время от времени город заполняют граждане со всей страны — вереницы автобусов из Калифорнии, Техаса, Миннесоты и других мест привозят людей, протестующих против — или, наоборот, в поддержку — молитв в школах, легальных аборт, ядерного оружия, субсидий фермерам и чего угодно ещё. Если вы живёте здесь, вы постоянно ощущаете, что то, что происходит

в Белом доме, Конгрессе и Верховном суде, действительно волнует людей в самых далёких уголках страны. Это даёт вашингтонцам чувство жизни в самом центре власти. Но одновременно вырабатывает у всех, кто здесь живёт или работает, известную невозмутимость перед национальными страстями и протестами. Они приходили всегда, будут приходить и впредь — а потом всё равно уедут.

Это и город патриотической памяти. Здесь не забыли, что в 1814 году британцы сожгли Библиотеку Конгресса, что во время Гражданской войны столица едва не была захвачена войсками Конфедерации и что она служила столицей воюющей страны в двух мировых войнах. Патриоты, герои и ветераны — даже те, кого в других местах давно забыли, — обретают здесь признание в Монументе Вашингтона, Мемориале Джефферсона, Мемориале Линкольна, на Арлингтонском кладбище, где на видном месте стоит дом Ли, в могилах погибших американских военных и в Мемориале ветеранов войны во Вьетнаме с именами тысяч оплакиваемых погибших.

Это горизонтальный город широких открытых перспектив. Здесь вы не увидите леса офисных небоскрёбов и подавляющих высотных гостиниц, которыми гордятся другие американские города. Над Вашингтоном господствует Капитолийский холм: на одном его конце — Конгресс, Верховный суд и Библиотека Конгресса, на другом — Национальный собор. Между ними, вместо привычной шахматной сетки улиц, характерной для американских городов XIX века, сохранился изящный план первого проектировщика города, Пьера Шарля Ланфана: словно система соединённых колёс — длинные перспективы, площади-крути, кольцевые развязки и диагональные авеню, названные именами штатов. Этот замысел по-прежнему хорошо читается и придаёт городу стройное, почти алфавитное очарование.

Хотя Вашингтон космополитичен, он не метрополия. В некотором смысле он — её полная противоположность. В Древней Греции *metropolis* означала «город-мать». Таковы и Лондон, Париж, Рим или Лиссабон. Вашингтон же, с характерной американской перевёрнутостью, не породил нацию — он сам порождён ею; он не родитель, а дитя. С ранних колониальных времён у американцев никогда не было единственной столицы — и нет её в этом смысле и теперь. Вашингтон остаётся **федеральным городом федеральной нации.**

Даже транспорт города несёт на себе этот отпечаток. Расписание метро определяется потребностями федеральных служащих. Здесь удивительно мало автомобильных пробок, поскольку транспортные потоки в часы пик организованы прежде всего ради удобства тех же чиновников. Национальный аэропорт расположен поразительно удобно — всего в пятнадцати минутах езды от Конгресса — и имеет специальные места для членов Конгресса, но, несмотря на огромные парковочные сооружения, практически не оставляет возможности припарковаться всем остальным. Если вы прилетаете издалека, ваш самолёт может приземлиться в аэропорту Даллеса в Виргинии или в международном аэропорту Балтимор–Вашингтон в Мэриленде, и тогда вы на собственном опыте узнаете, как федеральное соперничество способно породить настоящее перетягивание каната за счёт обычных граждан и туристов — и как местных жителей оглушает постоянный гул самолётов.

Погода в Вашингтоне, подобно его политическому климату, в целом приятно умеренна. За исключением редкой суровой зимы и нескольких недель жаркого влажного лета, город доставляет наслаждение тем, кто любит бывать на открытом воздухе, и кажется раем для садовода. Особенно хороши весна и осень. Бело-розовый дождь цветущей сакуры иногда

запаздывает и иногда слишком быстро осыпается, но приходит неизменно. Кизил и магнолии возвещают весну. Времена обновления и сбора урожая как нельзя лучше подходят этому городу. Из Вашингтона можно за час доехать на машине до океана или за считанные минуты — до одного из многочисленных лесистых парков штата.

И не забудем Потомак — по-прежнему одну из главных красот города. В самом начале именно река была одной из важнейших причин выбрать для столицы это место. Томас Джефферсон считал водопады Потомака одним из прекраснейших природных зрелищ Америки. Джордж Вашингтон получал свою элегантную карету лондонской работы прямо у пристани своей прибрежной усадьбы Маунт-Вернон, которая теперь находится примерно в получасе езды вниз по реке от Капитолия. Каждый, кто хочет по-настоящему почувствовать Вашингтон, должен проплыть по Потوماку, мимо форта, некогда предназначенного защищать город, — и тогда станет понятнее, почему столица возникла именно здесь.

Посетителю следует помнить: перед ним совершенно особое американское явление — столица народа, который придумал страну с политической системой, не похожей ни на одну другую в мире. Это политика федерации, политика без единой идеологии, но с бесчисленными сталкивающимися интересами. Вашингтон — политическая столица, но лишь в том, что касается федерального правительства. Его жители даже не обладают полным избирательным представительством: они могут голосовать за президента, но не имеют голосующего представителя в Конгрессе. Для большинства американцев, живущих вдали от Вашингтона, городские и штатные власти гораздо теснее соприкасаются с повседневной жизнью. У нас есть ещё пятьдесят политических столиц.

Не случайно эта федеральная политическая столица не является ни финансовой столицей, ни центром книгоиздания, ни художественной, музыкальной или театральной столицей. Вашингтонские писатели почти навязчиво поглощены тем, что пережили здесь сами, а «вашингтонский роман» стал своего рода местной эпидемией. В отличие от других национальных столиц здесь нет собственной богемы — ни Левого берега, ни Сохо, ни Гринвич-Виллидж. В этой демократической стране политика существует как нечто странным образом обособленное — почти как сам Вашингтон. Сюда приезжают выполнить политическую работу, добиться услуги или выступить против какого-либо дела. Но политика — не главное русло жизни этой нации.

Исторический парадокс города выражен в нём самом. В стране, где чернокожие составляют меньшинство, федеральная столица управляется чернокожими. Однако в культурной жизни города они играют сравнительно небольшую роль.

Вашингтон не является столицей, **создающей** культуру, зато это столица, **показывающая** культуру — возможно, одна из самых грандиозных и уж наверняка самая сосредоточенная в мире. За последние двадцать лет это стало ещё заметнее. Нигде больше нет такой эспланады с подобным собранием музеев, представляющих природу мира и культуры человечества. Смитсоновский институт обновил Национальный музей американского искусства и Национальную портретную галерею, создал Национальный музей американской истории, Музей и сад скульптур Хиршхорна, Национальный музей авиации и космонавтики, Галерею Фрира с её восточным искусством, музеи африканского искусства и культуры Ближнего Востока. Национальная галерея искусства располагает одной из великих мировых коллекций. Галерея Коркоран и Коллекция Филлипса предлагают художественные сокровища исключительной ценности.

Библиотека Конгресса — самая космополитичная и разнообразная библиотека мира — включает и третье здание, названное в честь президента Мэдисона, самое большое общественное здание Вашингтона. Оно по-своему символизирует новосветскую способность этой свободной страны вместить мир и одновременно протянуть руку миру.

Это столица нации, чьё предназначение — **соединять**.

И любой человек, приехавший сюда из любой точки мира, может без особого труда стать американцем — достаточно остаться и присоединиться к общему поиску.

4. НАУКА ПРЕДОСТЕРЕГАЕТ

Обширное знание частных вещей нередко делает нас мудрее, чем владение абстрактными формулами, какими бы глубокими они ни были.

— Уильям Джеймс, Многообразие религиозного опыта

10 АМЕРИКА ТОКВИЛЯ

Самый интересный вопрос для того, кто впервые открывает *Демократию в Америке* Алексиса де Токвиля (1805–1859), — почему именно эта книга, среди бесчисленных путевых описаний Соединённых Штатов, стала классикой, общепризнанным источником суждений об Америке в целом. От эпохи самого Токвиля сохранились два других бестселлера о Соединённых Штатах — *Домашние нравы американцев* миссис Троллоп (1832) и *Американские заметки* Чарльза Диккенса (1842), написанные авторами, превосходившими Токвиля и литературным мастерством, и опытом наблюдения. Но сегодня они существуют главным образом как примечания для учёных. Они рассказывают нам о любопытных американцах той далёкой поры; Токвиль рассказывает о нас самих. Он говорит с нами каждый день. Другие развлекают нас анекдотами и язвительными замечаниями о нравах и морали тогдашней Америки. Но у Токвиля, как у всякого классика политической мысли, слышится голос пророчества. Америка была для него и притягательным предметом исследования, и универсальным символом рождающегося Нового Света. Он обладал редким даром видеть этот символический смысл и передавать его. Ещё важнее то, что он писал с почти сверхъестественным чутьём к великим течениям истории — и с трезвым пониманием того, насколько много и насколько мало способны мы изменить их направление.

История была для Токвиля **наукой предостережения**. С её помощью он хотел предупредить и своих современников, и будущие поколения об опасностях, которые несут с собой

великие обещания Нового Света. Первая часть *Демократии в Америке* помещала происхождение и характер американских законов, конституций и политики в историческую и географическую перспективу, рассматривая, среди прочего, влияние религии, власть большинства и значение того, что страна состояла из трёх рас. Во второй части Токвиль, отталкиваясь от американского опыта, обращался уже к миру вообще: исследовал влияние равенства на мысль и чувство, на искусство, литературу, нравы и отношения между полами, а также особые опасности, угрожающие демократическим обществам.

Сама *Демократия в Америке* была небольшим литературным чудом — и потому учит нас осторожности, когда мы пытаемся вывести общие правила того, каким путём человек приходит к глубокому пониманию самого себя и общественных институтов. Двадцатишестилетний аристократ, почти не знавший ни политики, ни большого мира, Токвиль провёл в Соединённых Штатах всего девять месяцев — с 11 мая 1831 года по 20 февраля 1832-го. Он приехал за счёт семьи, желая вырваться из калейдоскопической неразберихи французской политики, и с весьма ограниченной целью — изучить американскую тюремную систему. Его сопровождал другой молодой аристократ, Гюстав де Бомон, но, разумеется, у Токвиля не было ни аппарата, ни помощников, без которых сегодня социолог едва ли мыслит серьёзное исследование. Ни команды интервьюеров, ни средств количественного анализа. Он лишь вёл записи, которые по возвращении в Париж систематизировал и снабдил указателем по шестидесяти четырём рубрикам. Он также напряжённо изучал несколько классических американских трудов по праву. На него глубоко повлияло предсказание историка Франсуа Гизо о закате аристократии; кроме того, Токвиль внимательно изучал историю английского

парламентаризма. Через восемнадцать месяцев после возвращения он удалился в мансарду семейного дома на улице Верней, 49. Там менее чем за год была завершена первая часть *Демократии*, вышедшая в январе 1835 года и принёсшая тридцатилетнему автору славу. Четыре года спустя он написал вторую часть, опубликованную в апреле 1840-го.

Особый смысл токвилевского послания и неповторимая притягательность его книги объясняются тем, что он был не просто внимательным путешественником и проницательным исследователем политики и общества. Его книга пережила свою эпоху потому, что он смотрел глазами историка на события, которые прямо у него на глазах творили историю — и до сих пор оставляют свой след в нашей.

Семейная память не позволяла Токвилю забыть, что ему выпало жить в эпоху французских революций. Его прадед Кретъен де Малезерб, выдающийся либеральный реформатор и друг энциклопедистов, был изгнан Людовиком XV, затем возвращён Людовиком XVI, которого революционеры позволили ему защищать на суде, а в 1794 году — вместе с дочерью и внуками — отправлен на гильотину. Частица *de* появилась в фамилии Токвиля в 1827 году, когда король Карл X из династии Бурбонов сделал его отца пэром. Сам Токвиль получил место начинающего магистрата. Но когда в июле 1830 года к власти пришёл «король-гражданин» Луи-Филипп Орлеанский, семья Токвиля оказалась под подозрением из-за своей преданности Бурбонам. Он видел, как Франция неудержимо движется к тому социальному равенству, которое, как ему казалось, в Америке уже стало действительностью — особенно после возвышения Эндрю Джексона.

Токвиль не был романтиком, но разделял восторг Вордсворта от счастья быть живым и молодым на заре революционной эпохи. Только, не будучи поэтом, он выразил

этот восторг в форме пространной прозаической эпопеи о смысле новой эпохи в Новом Свете. «Я твёрдо убеждён, — говорил он, — что демократическая революция, которую мы ныне наблюдаем, есть непреодолимый факт, бороться с которым было бы и нежелательно, и неблагоприятно». На обратном пути из Америки он вместе с Бомоном посетил Англию — с 3 августа по 7 сентября 1832 года, — чтобы собственными глазами увидеть наследие «Джона Булля, отца Джонатана [Америки]», а заодно повидать свою английскую невесту и познакомиться с её семьёй. «Говорят, что [англичане] уже стоят на самом краю революции и надо спешить увидеть их такими, каковы они теперь! Поэтому я тороплюсь в Англию, словно на последнее представление прекрасной пьесы». В Англии, переживавшей тогда муки борьбы вокруг первого Билля о реформе, принятого лишь в декабре 1832 года, он увидел ещё один путь перехода от аристократии к демократии.

Он необыкновенно ясно различал общий знаменатель истории своей эпохи. Молодой, ещё не связанный политическими обязательствами и рисковавший потерять разве что скромную судейскую должность, Токвиль писал не как защитник определённой программы и не как полемист, а как историк, мыслящий большими временными отрезками. «Развитие принципа равенства, — писал он, — есть факт провиденциальный... он всеобщ, долговечен, постоянно ускользает от человеческого вмешательства, и все события, как и все люди, содействуют его развитию». Цель своей книги он видел в том, чтобы «посредством строго точной картины показать, чем в наши дни на самом деле является демократический народ». Через пятнадцать лет, в 1848 году, он мог уже сказать, что его историческое чутьё подтвердилось «приходом демократии к власти в мировых делах — всеобщим и непреодолимым».

К счастью, когда Токвиль писал *Демократию в Америке*, он был ещё достаточно молод, чтобы не иметь заложников у политической фортуны, и слишком хорошо сознавал переменчивость французской политики. Поэтому он чувствовал себя свободнее признанных писателей и политиков, оценивая как цену, так и преимущества возникавшего нового общества. «Хотя республика, возможно, в меньшей степени, чем некоторые другие формы правления, развивает благороднейшие способности человеческого духа, — писал он, — ей присуще собственное благородство».

У Токвиля было две взаимосвязанные цели: пробудить современников перед лицом «провиденциального» движения к равенству, которому они тщетно пытались бы противиться, и одновременно предупредить тех, кому это движение приносило выгоды, о грядущих опасностях. Его книга должна была говорить об угрозе тирании большинства не меньше, чем об обещаниях равенства. Нигде его пророчества не звучат пронзительнее. В мире мысли и чувства, предупреждал он, сама демократия породила нового тирана — **Общественное мнение**. Кажущаяся «смешанной» природа наших политических институтов вводила в заблуждение. Задолго до опросов общественного мнения и статистики бестселлеров Токвиль увидел могущество этого странного нового демократического чудовища. «Большинство живёт в непрерывном самовосхвалении, и существуют истины, которые американцы способны узнать только от иностранцев или из собственного опыта». И что же это означает для мыслящего и чувствующего человека, который всегда оставался главным предметом его заботы? «Всякий раз, когда общественные условия становятся равными, общественное мнение с огромной тяжестью давит на ум каждого отдельного человека: оно окружает его, направляет и подавляет... По мере того как люди становятся всё более похожими друг на друга,

каждый чувствует себя всё слабее перед лицом всех остальных... и начинает сомневаться в себе, едва они выступают против него». Значит, нам, американцам, наши Токвили особенно необходимы.

Для нас значительная часть очарования и мудрости *Демократии в Америке* заключена именно в том, насколько искусно Токвиль владел этой **наукой предостережения**. «Народы нашего времени не могут помешать тому, чтобы положение людей становилось равным; но от них самих зависит, приведёт ли принцип равенства к рабству или свободе, к просвещению или варварству, к процветанию или нищете». Не отрицая силы великого исторического движения, свидетелем которого он стал, Токвиль всё же заставляет почувствовать: каждый из нас не лишён своей роли в истории. Тем настоятельнее необходимость самому владеть собственными мыслями и чувствами. Сосредоточивая внимание на этой врождённой опасности демократии, он одновременно обнадёживает нас: у каждого остаётся тайная внутренняя сила сопротивления невидимому тирану. Мы можем и должны искать противовес — в искусстве, в самовыражении, в свободе мысли. Если мы прочтём предостережения Токвиля и прислушаемся к ним, нам не придётся в темноте насвистывать от страха.

Можно было бы составить перечень слабостей современного американского общества, просто выписав заголовки глав второй части *Демократии*. Задолго до эпохи издательских и «развлекательных» конгломератов Токвиль предупреждал, что «демократия не только внушает торговым классам вкус к литературе, но и вводит торговый дух в саму литературу». Результат теперь хорошо знаком. «Постоянно растущая толпа читателей, — предсказывал он, — и непрерывная жажда новизны обеспечивают продажу книг, которые никто особенно не ценит». Он напоминал и о том, что изучение греческого и латинского

языков особенно полезно демократическим обществам. «Все, кто стремится к литературному совершенству в демократических странах, должны часто освежать себя у источников древней литературы; нет более целительного лекарства для ума... У древних есть особые достоинства, прекрасно способные уравновесить наши особые недостатки. Они служат подпоркой именно с той стороны, куда мы больше всего склонны упасть». Его книга переполнена непривычной мудростью, которая вновь и вновь оказывается обращённой прямо к нашей повседневной Америке.

Хотя Токвиль пишет о стране и целом континенте, его главная забота — отдельный человек. Его преследовал хорошо обоснованный страх перед способностью демократии запугать личность и поглотить её. В этом смысле он был пророком — едва ли не изобретателем — **индивидуализма**. Само слово *individualism* вошло в английский язык в 1840 году через перевод Генри Ривом второй части *Демократии в Америке*. «Индивидуализм, — писал Токвиль, — новое выражение, рождённое новой идеей... Индивидуализм — это зрелое и спокойное чувство, побуждающее каждого члена общества отделиться от массы себе подобных и удалиться в круг семьи и друзей». Как ни странно, индивидуализм виделся ему противоядием против врождённых болезней равенства в демократическом обществе. И, сосредоточив внимание на человеческом «я», Токвиль оказался пророком не только американского общества, но и будущего западного искусства и литературы, где Америке предстояло сыграть ведущую роль.

Неувядающая популярность книги Токвиля сама по себе служит добрым предзнаменованием для жизнеспособности американской демократии. Она показывает нашу готовность прислушиваться к критическим голосам чужеземцев — молодых или старых, кем бы они ни были и откуда бы ни пришли. Они не

дают нам смущённо отмахиваться от мысли, что мы, возможно, являемся надеждой мира, и помогают увидеть опасности, скрытые в нашем процветании. «Люди не принимают истину от своих врагов, — напоминал Токвиль, — а друзья предлагают её им чрезвычайно редко; поэтому я и высказал её откровенно».

11. РОССИЯ КЮСТИНА

Живая классика путевой литературы — *Империя царя* маркиза де Кюстина (1790–1857), английское название его *России в 1839 году*, — может помочь западному читателю увидеть, какой в действительности была Россия, и задаться вопросом: не сохранилась ли та Россия до сих пор? В середине XIX века выдающийся русский писатель-социалист Александр Герцен называл её лучшей книгой о России, когда-либо написанной иностранцем. Сегодня Джордж Кеннан утверждает, что, быть может, это не слишком хорошая книга о России 1839 года, зато превосходная книга о России Иосифа Сталина и совсем неплохая — о России Брежнева и Косыгина. Пророческие прозрения Кюстина способны помочь нам понять трудности, с которыми сталкивается всякий, кто пытается изменить Империю царя.

Помимо яркого повествования о путешествии в конных экипажах по экзотической стране, это книга странная и завораживающая. «Правда, я не всё увидел, — писал Кюстин, — но всё угадал». Откуда у человека почти ясновидческая способность угадывать широкие и глубокие течения национальной жизни? Чем дальше читаешь Кюстина, тем интереснее становится этот вопрос. Хотя в России он провёл меньше трёх месяцев, такой способностью он обладал. Каким-то образом ему удалось почувствовать черты русской жизни и русских институтов, корни которых уходили на тысячелетия в прошлое, а последствия простирались более чем на столетие вперёд. Следуя за ежедневными приключениями этого остроумного, проницательного, но страстного и предубеждённого наблюдателя, мы вновь и вновь поражаемся тому, насколько широта его прозрений превосходила узость непосредственного опыта. И нас не отпускает тревожащая

мысль: пусть некоторые его факты неточны, преувеличены или злонамеренно искажены, многие выводы пережили полтора столетия.

Чтобы быть справедливыми к Кюстину, прежде всего надо отправиться в путешествие вместе с ним, разделить приключения и злключения, в которые его вовлекали наступательное любопытство и болезненная чувствительность. Немногие из нас добровольно выбрали бы такого спутника. Ему не повезло так, как Токвилю, который примерно в то же время совершал краткое путешествие по Соединённым Штатам, породившее классическую *Демократию в Америке*, и имел рядом доброжелательного, близкого друга и соавтора Гюстава де Бомона. Наблюдения Токвиля проходили проверку отрезвляющей критикой этого своеобразного второго «я». Кюстин же был одиночкой. Как объясняет Джордж Кеннан, его чувствительность была заострена жизнью, полной личных трагедий, а сверхчувствительность усилилась вследствие событий, сделавших его самым скандально известным гомосексуалом Парижа и приведших к изгнанию из того благопристойного литературного общества, к которому он принадлежал. Поэтому у Кюстина мы имеем дело с мнениями чрезвычайно личными, ничем не умеренными и нередко попросту несдержанными, основанными на переживаниях, которые он описывает с незабываемой подробностью.

Кюстин обладал проницательностью постороннего. Даже не извлекая из этих эпизодов сложных выводов, можно наслаждаться многообразием, красками и полуазиатской странностью России полуторавековой давности, которую он изображает с красноречием. Мы присутствуем на празднествах и царских свадьбах в Петербурге, разделяем его восторг перед рассечёнными реками перспективами города, подслушиваем беседы с «истинно русским» царём Николаем I и любезной

императрицей, вместе с ним испытываем двойственное восхищение Самодержцем Всероссийским. Нас трясёт и подбрасывает в расшатанных экипажах на скверных дорогах, где каждый день грозит увязнуть в грязи по самые оси. Мы ночуем в постоянных дворах, кишящих блохами. Разделяем тепло и веселье ярмарочной музыки и плясок, любимся округлой красотой крестьянок. Чувствуем провинциальность Ярославля и Нижнего Новгорода, знакомимся с волжскими бурлаками. Нас ослепляет восточное великолепие Кремля — и днём, и ночью. Всё это не требует сложных идеологических толкований. Но очень скоро нас поражает, а порой буквально ошеломляет пророческая точность некоторых наблюдений — начиная уже с бюрократической волокиты при пересечении границы. Мы разделяем раздражение Кюстина из-за угрюмого полицейского шпиона, приставленного к нему в качестве слуги и неотступно следующего за ним. Его изображение мрачной Шлиссельбургской крепости, бессмысленных допросов, заключения за преступления, которые невозможно толком определить, мучений сибирских ссыльных кажется слишком знакомым. С болью пишет он о бедствиях, обрушивающихся на детей осуждённых, о вездесущих тайне и подозрительности. Его истории заставляют спрашивать: сколько от этой вечной России существует до сих пор? Они вызывают неприятное чувство *déjà vu*.

Как путешествие в мир политических размышлений поездка Кюстина в Россию была своего рода парой девятимесячному путешествию Токвиля в Америку. Молодой либеральный аристократ Токвиль, наблюдавший у себя во Франции закат аристократии и возвышение равенства, отправился с Бомоном в Америку, чтобы узнать, чему она может его научить. Первая часть его *Демократии в Америке* должна была показать великие возможности — и новые опасности — общества равных в Новом

Свете. Маркиза де Кюстина, напротив, преследовала память об отце и деде, казнённых на гильотине французскими революционерами, о чём он рассказывает с болью. В Россию он ехал, чтобы документально подтвердить преимущества самодержавия и укрепиться в своих предубеждениях против народного правления. Но именно там он открыл для себя пороки самодержавия и вернулся во Францию убеждённым сторонником конституций.

Выводы Кюстина порой удивительны, но для американского демократа неизменно интересны. Например, он твёрдо верил в общественную пользу настоящей аристократии — класса людей, подготовленных, способных и воспитанных так, чтобы защищать свободы от деспота. Такой класс он видел в Англии. Но в России, к собственному удивлению, не обнаружил аристократии вообще. Здесь все сословия, включая «дворян», были в равной степени рабами самодержавного царя. Русские придворные, по его мнению, не заслуживали высокого имени аристократов, поскольку были всего лишь раболепными льстецами. Его ужасала эта «нравственная деградация высших классов». Империя царя, согласно Кюстину, уже была подлинно «бесклассовым» обществом. Ниже самого самодержца не существовало никаких ступеней независимости или достоинства — лишь целая нация объятых страхом рабов.

Кто-то скажет, что сегодня, когда люди доброй воли стараются сблизить нас с русскими, не время напоминать о глубоких течениях русской истории, которые отделяют их от нас: монгольских нашествиях, вновь и вновь возникавшем страхе перед нападением с Запада, непрерывной традиции самодержавия и секретности, отсутствии какой-либо традиции конституционализма, легально действующей оппозиции, личного права свободно выражать свои взгляды, свободно исповедовать религию или свободно покинуть страну. Однако

трудно назвать две другие нации, которым было бы столь действительно необходимо понимать друг друга. Эта книга способна помочь нам питать реалистические надежды и отказаться от утопических ожиданий.

Кюстин помогает нам исправить современную близорукость. Его энергичное и увлекательное повествование напоминает: под покровом СССР всегда оставалась Россия — наследие Империи царя. Русский народ не больше других способен вырваться из собственной истории. Мы гораздо лучше понимали бы Советский Союз, если бы яснее помнили историю его институтов, образа жизни и правителей. Всё это создало Империю царя — и всё это участвует в создании сегодняшней России.

История способна добавить сострадания в наши суждения о русских и терпения — в наши ожидания относительно их обращения со своими гражданами. Возможно, тогда мы не станем столь безоговорочно осуждать их за то, что они так долго не дают людям того, что их история и институты делают чрезвычайно трудным или даже невозможным: свободы эмиграции, свободной прессы, свободы слова, свободы вероисповедания, оппозиционной партии. Русские не могут забыть столетия монгольского господства, традицию экспансии через Европу и Азию, священный характер царского самодержавия, слияние государственной и религиозной власти, традиции секретности и полицейской тирании, кнута и сибирской ссылки — так же как американцы не могут забыть тысячелетнюю традицию Великой хартии вольностей, парламентов, биллей о правах, конституций, *habeas corpus*, судей общего права, свободных земель, массовой иммиграции, постоянно отодвигавшейся границы освоения и кровопролитной Гражданской войны. Мы с большим сочувствием и терпением отнесёмся к попыткам русских

медленно, шаг за шагом отдаляться от тех институтов, которые Кюстин описал в своей *Империи царя*.

Новоанглийские пуритане колониальной эпохи не могли разочароваться — просто потому, что никогда не предавались иллюзиям. Учение о первородном грехе заставляло их удивляться и благодарить уже за то, что испорченный человек вообще способен чего-либо добиться. Точно так же чувство истории может спасти и нас от чрезмерного оптимизма и мучительных разочарований по поводу неуверенных попыток России вырваться из образа жизни, описанного в этой книге.

Изображая и величие, и красочность, и отсталость Российской империи XIX века, Кюстин напоминает нам, что некоторые тенденции, которые мы привыкли приписывать «коммунизму», возможно, являются просто русскими: экспансионизм, самодержавие, бюрократия, централизм, секретность, пренебрежение личными правами и общественным мнением и так далее. И во всех этих отношениях Кюстин способен привести нас к пониманию более глубокому — и более снисходительному.

Эта книга — блестящий образец древнего жанра, восходящего ещё к Геродоту, жанра, соединяющего литературное искусство с приёмами социальной науки и тем самым углубляющего наше понимание других людей. С самого начала западной культуры путешественники и путешественники-историки наделяли плотью и кровью пугающие абстракции политики. Прочитав у Кюстина о его разговорах с Николаем I, мы получаем более близкое представление о проблемах самодержца, его сильных и слабых сторонах. Мы ясно видим: царь тоже всего лишь человек. Кюстин, возможно, заставляет нас настороженнее относиться к русским как к политическим существам, но одновременно учит большему сочувствию к ним как к людям. Я не знаю другой

книги, которая столь ярко и напряжённо использовала бы форму путевого повествования для изображения общественных институтов. Причудливая личность автора, его непримиримые предрассудки и страсти, сомнительная достоверность отдельных фактов лишь придают книге дополнительную остроту. Каждый читатель оказывается втянут в спор с одним из самых проникательных и красноречивых путешественников прошлого столетия.

Американскому читателю Кюстин может стать проводником и в новом открытии Америки. Поразительная симметрия — Гегель назвал бы её «антитезисом» — между историей России и историей Соединённых Штатов отмечалась не раз. Она была в мыслях и самого Токвиля, когда он завершал книгу, сделавшую его знаменитым. Первый том *Демократии в Америке* заканчивается пророческими словами:

«Русские и американцы... внезапно выдвинулись в первый ряд народов, и мир почти одновременно узнал и об их существовании, и об их величии.

Все прочие народы, по-видимому, почти достигли своих естественных пределов и теперь должны лишь сохранять достигнутую мощь; эти же всё ещё растут. Остальные либо остановились, либо продвигаются вперёд с величайшим трудом; только эти два народа легко и быстро идут по пути, конца которому пока не видно.

Американец борется с препятствиями, которые ставит перед ним природа; противниками русского являются люди. Первый сражается с пустыней и дикостью; второй — с цивилизацией, вооружённой до зубов. Поэтому завоевания американца совершаются плугом, завоевания русского — мечом. Англоамериканец для достижения своих целей опирается на личный интерес и предоставляет свободное действие

ненаправленной силе и здравому смыслу народа; русский сосредоточивает всю силу общества в одной руке. Главное орудие первого — свобода; второго — рабство. Их исходные точки различны, пути их не совпадают; и всё же каждый из них, кажется, отмечен волей Неба для того, чтобы однажды держать в своих руках судьбу половины земного шара».

Токвиль был не так уж далёк от истины.

Где ещё найти более впечатляющий пример противоположных возможностей истории и цивилизации на нашей планете? Космический Плутарх, пожелай он написать *Сравнительные жизнеописания великих наций*, едва ли нашёл бы более благодарный материал. Может быть, назвать такую пару «Марк Твен и Достоевский»?

Яркие преувеличения Кюстина, касающиеся русской истории, резко очерчивают крупные контуры истории американской. Уже при въезде через Кронштадт — порт, «скованный льдом шесть месяцев в году», — и во время «простых формальностей» у петербургской таможенной полиции возникает удушливая атмосфера страха и подозрения ко всем иностранцам, и она уже не рассеивается. На вопрос: «Какова цель вашего пребывания в России?» Кюстин отвечает: «Увидеть страну». На что чиновник возражает: «У нас это не считается причиной для путешествия!» — «Какая скромность в этом возращении!» — замечает Кюстин.

Он постоянно напоминает: русский страх перед иностранцами и одержимость государственной тайной — не прихоть чиновников, а вполне объяснимая реакция на столетия монгольского господства, повторявшиеся позднее вторжения и угрозы вторжений, а также изоляцию континентальной державы. Страна, лишённая круглогодичного морского доступа к Западу и окружённая огромными сухопутными границами,

естественным образом воспринимала иностранцев с подозрением. Кто ещё, кроме захватчика или его агента, поедет сюда просто «посмотреть страну»?

Всё это имело долговременные последствия и для российской дипломатии:

«Дайте России свободу печати хотя бы на двадцать четыре часа — и мы узнаем вещи, от которых отшатнёмся в ужасе. Молчание необходимо угнетению. При абсолютном правлении всякая неосторожность в словах равносильна государственной измене.

Если среди русских встречаются дипломаты искуснее, чем у самых развитых народов, то потому, что наши газеты сообщают им обо всём, что у нас делается или замышляется, а мы, вместо того чтобы благоразумно скрывать свои слабости, каждое утро выставляем их напоказ с горячностью; тогда как византийская политика русских, действующая во мраке, тщательно скрывает от нас всё, что у них думают, делают или чего боятся. Мы идём открытыми со всех сторон, они движутся под прикрытием. Неведение, в котором они нас держат, ослепляет нас; наша откровенность просвещает их. Мы страдаем от всех зол пустословия, они пользуются всеми преимуществами тайны; в этом и состоит вся их ловкость и искусство».

Читателю необходимо постоянно напоминать: страна, по которой он путешествует, — это Россия 1839 года, Россия полуторавековой давности. Очевидно, невозможно понять ни одну нацию, включая собственную, не зная её прошлого. Но особенно в случае России нам нужна вся возможная помощь, чтобы глубже узнать это прошлое. В последние десятилетия русские — даже став советскими — не слишком помогали ни себе, ни нам получить надёжное знание. Передавая слова русского дворянина князя К., Кюстин формулирует эту проблему так:

«Русский деспотизм не только мало считается с идеями и чувствами; он отрицает и сами факты; он вступает в борьбу с очевидностью — и побеждает!!! Ибо очевидность, когда она неудобна власти, имеет у нас не больше голоса, чем справедливость... Народ и даже великие люди спокойно наблюдают эту войну против истины; ложь деспота, сколь бы явной она ни была, всегда льстит рабу... В России... деспотизм сильнее природы; император не только представитель Бога — он сам творящая сила, власть даже большая, чем божественная: Бог воздействует лишь на будущее, тогда как император изменяет и исправляет прошлое; закон не имеет обратной силы, прихоть деспота — имеет».

Тем желаннее поэтому новое издание путешествия Кюстина — и свидетельств других сторонних наблюдателей.

Когда книга впервые вышла по-французски и по-английски в 1843 году, она продавалась огромными тиражами. Кюстин утверждал, что за три года было продано около двухсот тысяч экземпляров — по тем временам цифра колоссальная. Едва ли этим успехом она была обязана рецензиям. Французские отзывы, когда они вообще появлялись, были преимущественно отрицательными, некоторые — откровенно разгромными. Кюстин остроумно объяснял успех первого издания тем, что ведущие парижские редакторы книгу проигнорировали. В Англии крупнейшие журналы также встретили её недоброжелательно. Поэт и политик Ричард Монктон Милнс, не совсем несправедливо, называл Кюстина «теоретиком и обобщателем самой безудержной разновидности». «Он искренен, хотя его искренность, возможно, не самого чистого свойства; он серьёзен, хотя к его серьёзности примешивается самолюбование; он справедлив в той мере, в какой

справедливостью можно считать передачу отдельных впечатлений в том порядке, в каком они возникали у него в сознании». Когда *Империя царя* впервые появилась по-английски, в Соединённых Штатах её почти не заметили. В России книга, разумеется, была запрещена, запрещалось даже её обсуждение.

Неудивительно, что при первом появлении книга вызвала бурные страсти — и, возможно, вызовет их снова. По выражению Джорджа Кеннана, это восхитительная смесь «вещей достаточно неточных, чтобы раздражать — главным образом в деталях, — и достаточно правдивых, чтобы причинять боль». Пусть книга никогда не стала *succès d'estime*, признанным успехом у знатоков, зато она заслужила редкую честь быть **успехом истории — succès d'histoire**.

Сегодняшний читатель может быть благодарен несчастному маркизу уже за то, что тот совершил это путешествие и оставил после себя столь неприглаженное свидетельство. Оно даёт нам крайне необходимый повод и возможность — вооружившись острым взглядом и едким пером Кюстина — вновь задуматься о связи российского прошлого с российским настоящим.

Несмотря на недостатки, искажения и советские попытки делать вид, будто этой книги вовсе не существовало, она продолжает жить — как старинное зеркало, в котором можно разглядеть одну из самых загадочных наций нашего времени. В конце концов и сам Кюстин увидел в своей книге именно зеркало — для себя и для нас. Завершил он её такими словами:

«Если когда-нибудь ваши сыновья окажутся недовольны Францией, воспользуйтесь моим лекарством: посоветуйте им съездить в Россию. Такое путешествие полезно каждому иностранцу: тот, кто хорошо изучил эту страну, будет доволен жизнью где угодно ещё. Всегда полезно знать, что существует

общество, в котором счастье невозможно, ибо по закону своей природы человек не может быть счастлив, если он не свободен.

Такое воспоминание делает путешественника менее привередливым; вернувшись к собственному очагу, он сможет сказать о своей стране то, что один умный человек однажды сказал о себе: “Когда я оцениваю себя самого — я скромн; когда сравниваю себя с другими — я горд”»

5. ЧЕТВЁРТОЕ ЦАРСТВО

*Выше! Выше! — говорят
Ангелы, — взбирайся смело,
К небу устрями свой взгляд;
Без боязни, без сомненья —
По ступеням удивленья!
— Ральф Уолдо Эмерсон, Мерлин*

12. ДАРВИНОВСКИЕ ОЖИДАНИЯ

«Дарвин заинтересовал нас историей технологии природы».

— Карл Маркс, *Капитал* (1867)

Мы живём в эпоху пророчеств. Значительная часть того, что сегодня в Соединённых Штатах выдаётся за новости, представляет собой чьё-нибудь очередное мнение о том, что принесёт будущее. А многое из того, что называют историей, — это описание в прошедшем времени призраков будущего. Воспоминания о «Новом курсе» и Франклине Рузвельте, тени Джона Кеннеди и залива Свиней, холодная война, война во Вьетнаме и война в Персидском заливе превращаются в трафареты, по которым пытаются вычерчивать грядущее. С самого начала заселение нашего так называемого Нового Света было окутано восторгами перед будущим. Не имея известного прошлого, Америка вынуждена была стать Страной Будущего.

Но пророчество уже не то, чем было прежде. В западной цивилизации, в иудео-христианской традиции, первоначальный и основной смысл слова «пророк» существенно отличался от современного. Как напоминает *Oxford English Dictionary*, древнейшее значение этого слова в английском языке — «тот, кто говорит от имени Бога или какого-либо божества, будучи вдохновенным провозвестником или истолкователем его воли; тот, кого считают — или, в более широком смысле, кто сам считает себя — наделённым этой функцией; вдохновенный или как бы вдохновенный учитель». Английское слово происходит от греческих слов со значением «говорить вслух»

или «говорить от имени другого». В Древней Греции пророк был истолкователем воли божества — Зевса, Диониса или Аполлона — либо возвещал оракул; по-латыни такого человека называли *vates*. На Западе первое и самое могущественное воплощение пророческой традиции мы получили от древнееврейских пророков, составляющих вторую часть еврейского канона — Закона, Пророков и Писаний. Великое пророческое движение древних евреев, начавшееся после Амоса около 750 года до н. э. и продолжавшееся по меньшей мере полтысячелетия, историки религии считают главной силой, придавшей Израилю его духовный масштаб и влияние. Эта традиция, разумеется, продолжилась — а с христианской точки зрения, исполнилась — в новозаветных пророках, то есть апостолах. Лука верил, что от начала мира Бог говорил «устахми бывших от века святых пророков Своих» (Лк. 1:70). «Никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, — говорил Пётр, — но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым» (2 Пет. 1:21). Новую силу эта традиция обрела в исламе, где основатель религии был прямо и просто назван Пророком.

Древнееврейские пророки нередко предвещали бедствия, которые должны были стать Божьей карой за упорное зло современного им поколения. Но важнее они были как проповедники, а не как предсказатели. Они призывали к праведности, милосердию, справедливости и любви к Богу. «Ищите добра, а не зла, чтобы вам остаться в живых, — увещевал Амос, — и тогда Господь Бог Саваоф будет с вами» (Ам. 5:14). Пророки осмеливались обличать богатых и сильных именно потому, что считали себя посланниками высшей силы, некоторым образом причастными к тайнам мироздания.

Эта апостольская роль пророка — вестника гибели и Божьего воздаяния — постепенно уступила в повседневной речи место более светскому, натуралистическому смыслу. Для нас пророк —

тот, кто предсказывает события, сами по себе нравственно нейтральные. Поэтому мы говорим о «пророках погоды», финансовых предсказателях, о тех, кто прогнозирует изменения общественного мнения или поведения избирателей. Такое изменение словоупотребления и смыслового акцента шло параллельно с развитием современной науки. Уже в 1736 году епископ Джозеф Батлер писал в своей *Аналогии христианской религии*: «Пророчество — не что иное, как история событий до того, как они произошли».

Подобно тому как пророк исполнял нравственную и проповедническую роль, такую же роль должен был играть и «натурфилософ» — исследователь естественной истории. Если богослов стремился «оправдать пути Бога перед человеком», то благочестивый наблюдатель природы стремился оправдать пути Бога во всём Творении. Согласно Книге Бытия, на третий день Бог создал растительность — траву, зелень и плодовые деревья, каждое производящее «по роду своему». На пятый день Он начал создавать животных — сперва рыб и птиц, затем наземных существ и, наконец, на шестой день, человека; и каждому было предназначено воспроизводить себе подобных. Эти две области природы стали называться животным и растительным царствами.

С развитием современной химии и физики и открытием присущих им особых законов на Западе заговорили о третьем — минеральном — царстве. Одним из первых, кто употребил это выражение по-английски, был великий Роберт Бойль (1627–1691), открывший закон Бойля: при постоянной температуре объём газа обратно пропорционален давлению. Как отмечал сам Бойль, такой способ говорить о природе возник вместе с подъёмом химии и физики его времени. Бойль, убеждённый в том, что изучение природы является религиозным долгом, ставил перед натурфилософом задачу открыть законы, по

которым действует физический мир и благодаря которым всё Божье Творение сохраняет порядок. На Западе три царства — животное, растительное и минеральное — превратились в общеупотребительную формулу, призванную исчерпывающе охватить весь мир природных тел.

«Натурфилософы» описывали отношения между животным, растительным и минеральным царствами, а также между всеми живыми существами в рамках установленной Богом системы — «экономии природы». Эту бережливую организацию божественной творческой энергии красноречиво выразил Джозеф Пристли (1733–1804), английский священник и химик, открывший кислород и друживший с Томасом Джефферсоном:

«Облака и дождь предназначены увлажнять землю, солнце — согревать её; строение и соки земли устроены так, чтобы принимать благотворное воздействие и того и другого и доводить до зрелости и совершенства бесконечное многообразие растений и плодов, семена которых заключены в ней. Разве каждое растение не приспособлено особым образом к своей почве и климату, так что каждая страна снабжена именно теми дарами природы, которые ей особенно подходят? Разве все растения, в свою очередь, не приспособлены к различным видам животных, питающихся ими?.. И различные виды животных тысячью способов приспособлены друг к другу и созданы для взаимного употребления. Более свирепые звери пожирают более кроткий скот; крупные рыбы почти целиком живут за счёт мелких; одни птицы охотятся на наземных животных, другие — на рыб, третьи — на существ собственного вида».

Такова была динамика природы; но существовал и порядок, заключённый в самой её структуре.

Главной метафорой этой структуры, соответствующей «экономии природы», была Великая цепь бытия. Это была простая и наглядная идея: все виды растений и животных можно

расположить в стройную последовательность — от самого ничтожного насекомого или червя через всё более сложных животных к человеку, который стоит лишь немного ниже ангелов. В известных строках Александра Поупа (1688–1744):

Великая цепь бытия! От Бога начавшись,
через духов, людей, ангелов, зверя и птицу,
рыбу, насекомое, всё, чего глаз не увидит
и куда не проникнет стекло, —
от Бесконечного к тебе,
от тебя — к ничто.
Стоит нам вторгнуться в высшие ступени —
низшие могут вторгнуться в наши;
стоит в полноте творения оставить пустоту,
сломать одну ступень — и рушится вся лестница.
Какое звено ни выбей из цепи природы —
десятое или десяти тысячное, —
цепь разорвётся одинаково.

Цепь бытия была другим именем божественной полноты. Земля не могла быть наполнена сильнее, чем она уже была. Отсюда следовало и другое: в начале Бог создал все возможные виды; ни один не мог исчезнуть и ни один новый не мог появиться. Так осуществлялась цель, выраженная псалмопевцем: «И наполнится славою Его вся земля» (Пс. 71:19). Поэтому великий Линней и мог описывать и классифицировать *Systema Naturae* — Систему природы.

К концу XVIII века всё это было общим местом западной мысли. Когда в 1859 году Чарльз Дарвин опубликовал в Англии *Происхождение видов*, он произвёл важнейшую переработку и приспособление этого традиционного словаря к эпохе, когда темп перемен стремительно возрастал, положение мужчин и женщин казалось всё менее устойчивым, общественные

институты находились в движении и даже учёные начинали признавать изменение обычным фактом жизни.

Полноценная дарвиновская теория эволюции питалась множеством древних источников и течений: идеями древних греков; предположением святого Августина, что в начале Бог мог заложить некоторые семена, которым предстояло прорасти лишь позднее; средневековыми представлениями об органическом мире; догадками французских философов и натуралистов — Монтескьё, Дидро, Бюффона и других; даже сомнениями самого Линнея, первосвященника традиционной таксономии, в абсолютной неизменности видов. Дед Чарльза, Эразм Дарвин, написал целую эпическую поэму о стремлении растений и животных развиваться в новые формы. И нельзя забывать, что Чарльз Дарвин был не одинок: Альфред Рассел Уоллес независимо от него, на другом конце земного шара, пришёл почти к тем же идеям, пользуясь в значительной мере тем же языком. Всё это заставляет предположить, что дарвинизм был не столько революцией, сколько кульминацией.

Одним из признаков того, насколько провиденциально он соответствовал новой эпохе ускорившихся перемен, стало изменение самого слова и понятия «революция», происходившее примерно тогда же. «Революция», некогда означавшая просто очередное завершение и возвращение цикла — подобно воспроизводству вида «по роду своему», — приобрела новый смысл. Великая эпоха мира должна была начаться заново.

Поэтому среди всех ироний интеллектуальной истории едва ли найдётся более удивительная, чем та, что труд Дарвина называли «революционным». В действительности он был не столько предвестием новой эпохи, сколько итогом и пересмотром уже принятых способов мышления. «Экономия природы» была заново сформулирована как естественный отбор и выживание наиболее приспособленных. На месте абстрактной

цепи бытия возникла густо населённая среда, где каждая ниша была занята организмом, особенно хорошо и в конкурентной борьбе приспособленным именно к ней. Понятие вида — всякий организм «производит по роду своему» — сохранило центральное значение, но механизм возникновения видов был пересмотрен, а возможность их вымирания стала мыслимой. То, что дарвиновская мысль была именно кульминацией, видно и по тому, насколько быстро первоначальный шок ортодоксальных церковников от пересмотра книги Бытия сменился широким признанием среди образованной научной и литературной публики. «Авраам науки, — приветствовал Дарвина Джон Тиндаль в 1871 году, — исследователь, столь же послушный велению истины, как патриарх был послушен велению Бога». После смерти в 1882 году Дарвин был со всеми религиозными обрядами похоронен в Вестминстерском аббатстве.

Религиозные корни дарвиновских трудов хорошо известны и широко признаны. Семья с ранних лет предназначала его к духовному званию. Чтобы убедить отца Дарвина отпустить двадцатидвухлетнего Чарльза в путешествие на *Бигле* в качестве натуралиста и спутника капитана, его дяде Джозае Веджвуду II пришлось доказывать: «Занятие естественной историей, хотя оно, несомненно, и не является профессией, весьма подобает священнослужителю». В последующие годы Дарвин всё сильнее сомневался в догматической религии, однако оставался чуток к религиозным чувствам своей набожной семьи. Часто рассказывают, что, когда Карл Маркс выразил желание посвятить Дарвину первый том английского перевода *Капитала*, тот отказался. Чарльз настаивал: семье будет больно видеть посвящённым ему столь безбожный труд.

Наши господствующие представления о будущем унаследованы от натуралистов, авторов трактатов об «экономии

природы» и их эволюционных наследников, достигших классического выражения у Дарвина и его последователей. Они размышляли о предметах трёх великих царств — животного, растительного и минерального — и классифицировали их. Их аксиомы возникли в век биологии, когда большинство населения Западной Европы и Америки жило на земле и зависело от плодов природы.

Эти представления приобрели силу **«укоренившихся идей»** — идей настолько привычных, что мы уже перестали замечать, что живём внутри них. Английское *vested* здесь особенно выразительно: глагол *to vest* связан со старым германским словом со значением «носить одежду» — отсюда *vestment*, «облачение», *vest*, «жилет». Эти шесть идей мы перестаём замечать так же, как перестаём замечать одежду на себе, если она хорошо сидит — привычно, удобно и по моде.

Дуализм. Это вера в простое противопоставление организма, с одной стороны, и условий его жизни — с другой: между прудом, где живут утки, и различными видами уток, борющимися за выживание в этом пруду. Побеждает та утка, чьи перепончатые лапы и способ полёта лучше всего соответствуют окружающим условиям. Из этой аксиомы и возникло понятие «среда». Английское *environ* около 1400 года означало «образовать кольцо вокруг, окружить, опоясать», а *environment* первоначально обозначало сам акт окружения. Лишь в XIX веке, при жизни Дарвина, слово приобрело привычный теперь предметный смысл — «то, что окружает», окружающая обстановка. Благодаря этому оно стало точным и удобным для биологии, но попутно словно застыло само и помогло застыть значительной части нашей социальной мысли в дуалистической форме. Теперь можно было сказать: «Организм постоянно приспосабливается к среде». Конечно, существовали некоторые организмы — например, кораллы со своими рифами или

муравьи с огромными муравейниками, — которые явно сами создавали собственную среду. Эти случаи особенно интересовали Дарвина, как и одомашненные животные, возможно, потому, что они показывали скрытую сложность самого понятия среды. Но в центре внимания Дарвина оставался естественный отбор, проверяющий способность растения или животного выжить в данной среде. Среда была сценой, на которой различные виды вступали в борьбу, совокупностью обстоятельств, определяющих условия и ставки этой борьбы; сама она изменялась, если вообще изменялась, лишь медленными процессами климата и геологии. Побеждал тот, кто лучше всего подходил к роли на этой сцене.

Конфликт. Любое растение или животное могло выйти победителем на сцену окружающей среды только после победы над соперниками — в борьбе за существование. По выражению Теннисона, мир эволюции — это «природа, красная от крови на зубах и когтях». *Происхождение видов* вполне можно было бы назвать хроникой борьбы видов или их вымирания. Как уже замечали Пристли и другие мыслители «экономии природы», каждое живое существо существует, пожирая другое. Природа представлялась ареной крови и смерти, однако эволюционисты видели в этом процессе поступательное, возвышающее движение. Кровопролитие означало прогресс: оно знаменовало появление новых, всё лучше приспособленных видов.

Иерархия. Результатом была природная лестница — от простейшего к самому сложному. Если прежняя естественная история описывала эту иерархию как Великую цепь бытия, то новая традиция, классически перенесённая Гербертом Спенсером на общество, утверждала: «Прогресс... не случайность, а необходимость... Он часть природы». В *Основах биологии* (1864) Спенсер ввёл выражение «выживание наиболее приспособленных», подразумевавшее, что эволюция общества и

культуры, подобно всей природе, представляет собой заранее определённое движение от бессвязной однородности к сложной и взаимозависимой неоднородности. То, что прежние натурфилософы представляли как пространственную лестницу Творения, созданную Богом в начале мира, их позднейшие наследники увидели как творение Бога во времени — через неизбежные процессы эволюции.

Вытеснение. Разумеется, речь идёт о вытеснении прежних, более примитивных форм позднейшими — более сложными и тонко приспособленными. Неуклюжие птеродоны позднего мелового периода в Европе, Азии и Северной Америке — некоторые с размахом крыльев до двадцати пяти футов — не имели перьев и килевой кости на груди, к которой у птиц крепятся мощные летательные мышцы. Поэтому, казалось, они неизбежно должны были уступить место птицам, куда лучше приспособленным к заполнению соответствующей экологической ниши. Дарвиновская история природы была историей медленного, но постоянного и неизбежного вытеснения менее приспособленных видов более приспособленными. В долгосрочной перспективе природа просто не терпела существ, недостаточно «экономно» приспособленных к своей среде.

Ответ. Всё это развитие было возможно потому, что жизнь и судьба растений и животных понимались как реакция на определённый и неизменный набор «потребностей». Потребности, разумеется, различались от вида к виду, но внутри каждого вида считались постоянными. Каждая ветвь животного царства имела такие потребности, которые могли удовлетворяться лишь условиями соответствующей среды. Поэтому обитатели морского берега процветали в ритме приливов и отливов, а клювы и лапы прибрежных птиц были приспособлены добывать пищу из песка. Каждая среда

подходила для удовлетворения одних потребностей и не подходила для других. Натуралисты, изучавшие то, что Лоуренс Хендерсон назвал «пригодностью среды», отмечали, насколько солёность и температура океанской воды подходят для существования рыб и растений, процветающих в море. Историки последовали тем же путём. Арнольд Тойнби построил целую теорию подъёма и падения цивилизаций на понятиях «вызова» и «ответа». Если набор вызовов, предлагаемых средой, фиксирован, то и диапазон необходимых ответов естественным образом оказывается ограниченным.

Развитие. Самый тяжёлый груз, доставшийся нам от века биологии, — простой детерминизм. Книга Бытия задаёт норму для каждого растения и животного, говоря, что каждое производит «по роду своему». «Естественная история» и была, собственно, изучением этих норм — фактов воспроизводства каждого вида и прежде всего «истории жизни» каждого вида. Подобно тому как бабочка проходит стадии яйца, личинки и куколки, любой организм имеет собственные этапы. В отношении человека средневековые моралисты украсили эту идею образом Семи возрастов человека. Даже привлекательное слово «развивать» — *develop* — и «развитие» заключает в себе сущность этого представления. В английский оно пришло через французское *développer* и старофранцузское слово, образованное от латинского *dis* — «обратное действие» — и *volvere* — «заворачивать»; первоначально оно означало «разворачивать», «раскрывать свёрнутое». Само слово предполагает, что нечто уже существует внутри и его надо лишь развернуть: иначе говоря, «развитие» — постепенное появление заранее ожидаемых форм.

В следующей стадии развития особи данного вида не могло быть ни интриги, ни неопределённости. Развитие могло прерваться или остановиться, а могло, напротив, быть поддержано и ускорено. Отклонение от предписанного пути

воспринималось как уродство или чудо — обычно как нежелательное уклонение от роли, предназначенной виду Богом. Само понятие вида воплощало и подтверждало эту траекторию ожидания. Вид по определению воспроизводил «себе подобных». Этот же способ мышления мы перенесли на страны, культуры и экономики. Мы говорим о странах «неразвитых», «слаборазвитых» и «развивающихся», подразумевая, разумеется, что они ещё не прошли всех ожидаемых, нормальных — и предположительно желательных — стадий «развития». До выражения «переразвитые страны» мы пока не дошли.

Эти шесть дарвиновских ожиданий — наше наследство, набор укоренившихся идей, пришедших из века биологии, когда большинство людей в Западной Европе и Северной Америке ещё совершенно явно и сознательно зависело от благосклонного ответа природы. Перепись населения Соединённых Штатов 1860 года, проведённая через год после публикации *Происхождения видов*, показала, что четыре пятых населения всё ещё жили на фермах и только одна пятая — в городах: 25 миллионов против 6 миллионов. Ни один американский город ещё не насчитывал миллиона жителей. Более половины так называемого городского населения жило в центрах с населением менее пятидесяти тысяч человек. Быстрое движение в города станет, конечно, одним из самых мощных течений американской жизни в течение следующего столетия. К переписи 1970 года соотношение полностью перевернулось: три четверти населения стали городскими и только четверть — сельскими.

Фермерская жизнь, подобно видам растений и животных, на которых она основывалась, также стремилась воспроизводить себя «по роду своему». Это был мир циклов, подчинённый ритму времён года: весенняя посадка, осенний урожай, зимнее затишье для домашних работ. Если вовремя шли дожди, светило

солнце и снег выпадал в ожидаемом количестве, всё было хорошо. Даже катастрофы были привычны. Засухи и наводнения, метели, ураганы и смерчи возвращались с пугающей регулярностью. Эта зависимость от «стихий», от того, как Бог распорядится ветром, солнцем и дождём, воспевалась поэтами, романистами и даже политиками. «Те, кто трудится на земле, — писал Томас Джефферсон в *Заметках о штате Виргиния* (1781), — суть избранный народ Божий, если у Него вообще когда-либо был избранный народ; в их груди Он поместил особое хранилище подлинной и прочной добродетели. В них Он поддерживает тот священный огонь, который иначе мог бы исчезнуть с лица земли. Массовое разложение нравов среди земледельцев — явление, примера которому не знает ни один век и ни один народ. Это клеймо тех, кто, в отличие от земледельца, обращающего взор к небу, своей земле и своему труду как источнику существования, зависит от случайностей и прихотей покупателей... отношение совокупности всех прочих классов граждан государства к числу его земледельцев есть отношение нездоровых частей государства к здоровым...»

Джефферсон всё ещё говорил языком ветхозаветных пророков, предрекая бедствие, которое наступит, когда фермер перестанет господствовать в американской жизни. С его времени американское пророчество отливалось уже в форму дарвиновских ожиданий. Укоренившиеся идеи Дуализма, Конфликта, Иерархии, Вытеснения, Ответа и Развития до сих пор ограничивают наше мышление о близком и далёком будущем. Они превратились в язык пророчества, в способ осмысления нашей внутренней жизни в Соединённых Штатах и на Западе вообще — и в систему ожиданий, которые мы предъявляем другим народам.

Но сегодня эти способы мышления уже не соответствуют действительности. Более того, размышляя о будущем, мы

рискуем быть опасно введены ими в заблуждение. Новую ситуацию я называю **царством машин**. Устаревшие ожидания, описанные в этой главе, были порождены императивами естественной истории — то есть тремя традиционными царствами: животным, растительным и минеральным. Четвёртое царство, в котором мы начали жить в последние два столетия, создано не Богом, не природой и не медленными процессами, движущимися с геологической неторопливостью. Царство машин — создание человека. Оно приносит новые, даже противоестественные проблемы будущего. И ему присущ собственный, неровный и порой катастрофический темп перемен.

Дарвиновские ожидания всё меньше соответствуют современной жизни индустриальных обществ. И всё же, перейдя из мира биологии в мир технологии, мы сохранили эти ожидания в ряде распространённых современных заблуждений. В центре этих заразительных всеохватывающих ошибок лежит идея вида — центральная для всякого мышления о природе и до Дарвина, и после него, но чуждая сегодняшнему миру. Она обнаруживается даже в том, как мы говорим о компьютерах. Слово «поколение», основное значение которого издавна связано с продолжением рода — «потомство, имеющее общего родителя или родителей и составляющее одну ступень происхождения», — теперь иронически иллюстрируется в *American Heritage Dictionary* (1993) выражением «новое поколение компьютеров». Но если процесс размножения, непрерывность и регулярность наследования, присущие каждому биологическому «виду» — «приносящему плод по роду своему» (Быт. 1), — упорядочивают мир природы, то в мире технологии они не просто не помогают нам, а прямо сбивают с пути.

Единицы жизни, разумеется, воспроизводят себя сами. Но наше царство машин связано не столько с **воспроизводством**, сколько с **производством**. Мы до сих пор не всё понимаем в изменчивости механизмов самовоспроизведения внутри живых видов, однако ещё меньше знаем о «генетике машин». Мы гораздо больше знаем о происхождении видов, чем о происхождении разновидностей машин. Вид может демонстрировать естественный отбор и выживание наиболее приспособленных, но судьба машины вовсе не обязана подчиняться подобному правилу. Решающее вмешательство человеческих желаний, моды, рекламы, общественных институтов и капризов делает рискованной попытку предсказывать выживание или размножение машины исходя лишь из её внутренних, своего рода «генетических» свойств. Перспектива выживания природного вида определяется его способностью приспособиться к среде. Машина же, как мы увидим, выживает благодаря способности **породить собственную среду — или создать собственный спрос**.

Машины редко добиваются исчезновения прежних машин, даже если старая и новая выполняют сходные функции. Автомобиль не сумел уничтожить велосипед. Где же додо машинного царства? Характерно, что исчезают скорее не типы машин, а торговые марки — вчерашние «Статцы» и «Эдсели». Одни машины вытесняют другие совсем по иным причинам, чем виды в биологическом мире. Разумеется, машины не «производят по роду своему», а порождают машины других видов. Стиральная машина породила сушильную. В мире машин мутация — не исключение, а правило. Она происходит быстро — в виде сезонных или ежегодных моделей, — а «виды» здесь постоянно скрещиваются, например радио с автомобилем. Самые влиятельные и широко распространённые машины — своего рода насекомые технологического мира: кварцевые часы,

шариковые ручки, механические карандаши и бесчисленные их сочетания и разновидности, включая новейший компьютер, — становятся всё меньше и всё более портативными. Благодаря этому они приспособляются к самым различным условиям, прихотям и потребностям. Отличительная особенность наиболее могущественных машин — их стремление приспособить к себе любую среду: телефон, автомобиль, радио, телевидение, плеер и так далее.

Дуализм — противопоставление организма и среды, которое, по-видимому, действует в природе, — явно неприменим к миру машин. «Эколог», считающий своей миссией «спасение» окружающей среды, говорит на устаревшем языке. В действительности сегодня экологов волнует уже не внешняя противоположность некоему «виду» машины, а сами машины, которые и образуют нашу среду.

Не подходит к царству машин и представление о всеобщей вражде, вера в универсальность конфликта. Томас Гоббс описывал естественное состояние как мир «постоянного страха и опасности насильственной смерти», где жизнь человека «одиока, бедна, отвратительна, жестока и коротка». Из этой банальной истины он выводил оправдание абсолютной власти. Карл Маркс, также смотревший на природу через призму эволюционной борьбы и понимавший историю как классовый конфликт, превратил другую банальность в утопическое видение бесклассового — то есть лишённого «видов» — общества, которое должно возникнуть лишь после выживания и диктатуры «наиболее приспособленного» класса, то есть «пролетариата». Но легендарный закон джунглей, война всех против всех, борьба видов за выживание наиболее приспособленного способны лишь ввести нас в заблуждение в царстве машин.

Утратили значение и аксиомы порядка — природная иерархия. «И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему,

по подобию Нашему; и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле» (Быт. 1:26). Главные проблемы царства машин возникают из новой неопределённости — из соотношения человеческой власти и власти машин. Создав машину — автомобиль или атомное оружие, — человек породил новую силу, которую уже не способен ни упразднить, ни полностью подчинить. Франкенштейн — Мефистофель нашего века. Человеческие творения обрели новую роль. Человек способен уничтожить природные виды, угрожающие ему, — вирус оспы, полиомиелита или другие вирусы, — либо виды, которые ему выгодно уничтожить, — странствующего голубя или китов. Но он ещё никогда не нашёл способа **разизобрести** созданный им искусственный вид.

В следующих главах станет очевидной и несостоятельность банального понятия «ответа» — будто новые виды машин создаются в ответ на заранее известные и перечислимые «потребности». Мы увидим и опасность предположения, будто будущее институтов одной страны непременно пойдёт по знакомому — «нормальному» — пути развития другой. Между тем естественная история была квинтэссенцией норм развития — исследованием пределов вероятного и границ возможного.

Пережиток такого мышления мы видим сегодня в Соединённых Штатах и других демократических странах в всё более настойчивых требованиях заранее оценивать последствия каждой новой технологии и каждого нового научного исследования и прежде, чем предоставить им общественную поддержку — а то и прежде, чем разрешить им продолжаться, — доказать, что они не принесут вреда. Это движение за законодательное санкционирование и цензуру прогресса исходит, разумеется, из предположения, будто пути прогресса, подобно линиям наследования биологических видов, могут быть

предсказаны. Но нам необходимо признать новую аксиому нашего четвёртого царства. **«Невозможность доказать невозможность»**, по выражению профессора Харви Брукса, должна предостеречь нас от дарвиновских ожиданий — от самонадеянной веры в однолинейный прогресс и заранее предписанное «развитие».

Парализующие требования неразумно высокой степени предсказуемости вовсе не являются монополией какой-либо одной политической группы. Если политические консерваторы обычно «настаивают на абсолютном понятии национальной безопасности», то политические либералы склонны «требовать абсолютной безопасности в вопросах охраны труда, здоровья и окружающей среды». И те и другие выражают традиционную, некритическую американскую веру в технологию. И те и другие тайком перенесли дарвиновские ожидания — аксиомы, заимствованные из животного и растительного царств, — в новое царство машин. И те и другие требуют страховки от прогресса, которого невозможно вообразить заранее.

И тем самым и те и другие отвлекают нас от поисков той особой непредсказуемости, которая стала законом нашего нового мира, — от поисков **законов неожиданного**.

13. СТАТИСТИЧЕСКИЕ ОЖИДАНИЯ

*Если не ждёшь неожиданного, его и не найдёшь: оно
трудноуловимо и трудно постижимо.*

— Гераклит, ок. 500 г. до н. э.

Всегда случается именно неожиданное.

— английская пословица

Современная физическая наука изменила сам стиль пророчества. Мы перешли от качественных предсказаний к количественным. Платон описывал естественный ход политического развития как смену качеств власти: добродетель уступает место чести, честь — богатству. Предпоследней ступенью зла он считал демократию — «очаровательную форму правления, пёструю и беспорядочную», где «подданные подобны правителям, а правители — подданным» и где «всем заправляют трутни». Завершался этот круг вырождением демократии в тиранию. Аристотель тоже предсказывал циклическую смену форм правления.

Весь путь от древней науки к современной нередко описывают как движение от качеств к количествам. В физике его возвестил ньютоновский мир чисел, в физиологии — количественное доказательство кровообращения Уильямом Гарвеем. Вслед за ними и общественные науки принесли свои убедительные, а порой и претенциозные пророчества — также окружённые ореолом чисел.

Если дарвиновские представления заключают нас в рамки аксиом естественной истории, эволюции и развития, заимствованных из животного и растительного царств, то

статистические ожидания заточили нас в количественные категории неорганического мира — в категории, почерпнутые уже из царства минералов.

«Применим к политическим и нравственным наукам, — призывал французский астроном Лаплас (1749–1827), — метод наблюдения и математики, столь успешно послуживший естественным наукам». Эти слова стали своего рода девизом первого учебника современной социальной науки — *Социальной физики* бельгийского астронома и статистика Адольфа Кетле (1796–1874), человека разносторонних дарований, который, между прочим, ввёл понятие «среднего человека».

«Чем дальше продвигаются науки, — настаивал Кетле, — тем более стремятся они войти в область математики, словно к некоему центру, к которому все сходятся. О степени совершенства науки можно судить по тому, насколько легко она поддаётся вычислению».

Сегодня Кассандры общественных наук говорят языком цифр. Современное социальное пророчество осуществило мечту Кетле. Количественные показатели придают нашим предвидениям видимость научной точности. Даже размеры ошибок мы деликатно называем «пределами погрешности».

Разумеется, статистическое пророчество возможно лишь при одном условии: категории опыта — прошлого, настоящего и будущего — должны быть определены заранее и оставаться неизменными. Поэтому нам кажется, будто будущее становится понятнее, когда мы видим прогнозы валового национального продукта, дохода на душу населения, дефицита, безработицы, заработной платы, цен, инвестиций и процентных ставок. Как далеко ушла наша экономика от аристотелевского «ведения домашнего хозяйства»!

Статистика неизбежно скрывает качественные пропасти, разделяющие прошлое и будущее. Карл Маркс наблюдал

превращение качеств в количества. Нашим же главным методом стала экстраполяция — попытка определить величину за пределами известного диапазона, исходя из переменных, наблюдаемых внутри него.

Когда мы, например, рассуждаем о целесообразности дорогостоящих программ вроде исследования космоса, мы обычно явно предсказываем, что программа принесёт определённые блага, и неявно предполагаем, что она не породит каких-то иных последствий. Но самые значительные разновидности неожиданного остаются за пределами количественных прогнозов. Они возникают как побочные результаты.

Теория истории, построенная вокруг побочных последствий, могла бы утверждать, что непреднамеренные и даже невообразимые результаты человеческих начинаний были и всегда будут могущественнее, шире и влиятельнее тех результатов, к которым человек сознательно стремился.

Американская история особенно наглядно показывает значение таких побочных последствий.

«Открытие» Америки европейцами было, разумеется, полной неожиданностью. Оно оказалось непреднамеренным следствием поисков вполне ожидаемого результата — западного морского пути в Индию, Японию и Китай. Само наше присутствие в Соединённых Штатах — побочный продукт невежества и просчётов, мужества и упрямства некоторых величайших мореплавателей в истории.

Поэтому американцам можно простить нашу склонность преувеличивать значение непредвиденных последствий. Если бы монархи XV века могли заранее увидеть, до какой степени открытие Америки поколеблет европейские истины и уверенности, далеко не очевидно, что они вообще решились бы отправить корабли в путь.

Только рабы идеологии осмеливаются загонять будущее в заранее приготовленные рамки.

Мы, американцы, — прирождённые антидетерминисты. Уж кому-кому, а нам трудно поверить, что прямая линия — кратчайшее расстояние между двумя точками истории. Национальное самосознание Соединённых Штатов стало побочным результатом войны за независимость тринадцати враждовавших между собой колоний. Заселение нашей страны — следствие чужих бедствий: религиозных преследований, феодальных различий и классовой несправедливости Европы. Движение на Запад через загадочный континент нередко было поиском того, чего там вообще не существовало.

Мы — нация-побочный продукт.

Само слово *by-product* вошло в английский язык в середине XIX века и, что вполне закономерно, первоначально было связано с промышленным производством. Самый ранний зарегистрированный пример его употребления встречается в книге Элизы Эктон *English Bread-book* 1857 года: «Немецкие дрожжи... на многих винокурнях образуют важный побочный продукт».

Приставка *by-* — как, например, в слове *byway*, «боковая дорога» — издавна противопоставлялась «главному» пути, входу или проходу, но только за последнее столетие стала широко употребляться для обозначения «вторичного продукта».

Само слово *product* первоначально было математическим термином и означало результат умножения двух или нескольких величин. К концу XVII века оно стало обозначать то, что произведено «естественным» процессом — ростом растения, извержением вулкана и тому подобным. Этимологически оно восходит к латинскому *producere* — «выводить вперёд», «порождать», «простирает».

Позднее понятие продукта распространилось и на вещи «искусственные», созданные ремеслом или человеческим умением. Физиократы — влиятельные французские экономисты XVIII века — всё ещё утверждали, что ремесло, торговля и коммерция «бесплодны». Производительными они считали только земледельцев. Поскольку в конечном счёте источником всякого производства был Бог, единственным действительно производительным элементом экономики объявлялась земля.

Лишь с расцветом экспериментальной техники в промышленно развивающихся странах возникает современное представление о побочных продуктах — и начинается их сознательный поиск и использование. Сегодня наши словари определяют их как вторичные или случайные продукты производства.

С появлением новых видов искусственной энергии — с человеком, подражающим Богу, — и с умножением производимых вещей умножаются и побочные результаты.

Научные исследования и разработки, R&D, сами превращаются в поиски таких результатов — желанных, но непредсказуемых плодов работы, начатой совсем ради другой цели.

Историю можно без конца продолжать подобными примерами.

Галилей получил от Венецианской республики поручение разработать военное устройство — «инструмент для видения на расстоянии». Но последствия изобретения телескопа, потрясшего папские догмы и изменившего представление западного человека о собственном месте во Вселенной, были, строго говоря, всего лишь вторичными последствиями — побочными продуктами.

Некоторые уважаемые учёные эпохи Галилея не возражали против военного применения телескопа, но категорически

отказывались хотя бы раз взглянуть через него на открытые Галилеем «поддельные» небеса.

Не менее неожиданной оказалась судьба микроскопа. Первые увеличительные стёкла голландские торговцы тканями использовали для подсчёта нитей и проверки их качества.

Антони ван Левенгук (1632–1723), в юности служивший у торговца тканями и женившийся на дочери английского торговца сержем, никогда не учился в университете и не владел учёными языками. Но однажды, почти ради забавы, он направил своё увеличительное стекло на воду из стоячего пруда близ Делфта — и перед человечеством распахнулся фантастический новый мир, мир микроскопического.

Происхождение искусственных источников энергии тоже можно читать как притчи о побочных результатах.

Паровая машина возникла как устройство для откачки воды из затопленных угольных шахт. Применение пара для движения фабричных машин или локомотивов было поначалу почти случайным. Затем паровые машины повысили спрос на уголь, усовершенствованные машины позволили добывать больше угля — и так наступила эпоха пара.

Электричество тоже в значительной степени оказалось побочным плодом развлечений на лекционных демонстрациях XVIII века, опытов по электрохимии, поисков защиты от молний и множества других занятий.

Наконец, и атомная энергия, как всем нам известно, была побочным результатом поисков абсолютного военного оружия.

Кто может сказать, чем станет — и откуда явится — следующий источник искусственной энергии?

И всё же техника экстраполяции вновь и вновь подкрепляет наши привычные ожидания.

Национальную экономику мы измеряем валовым национальным продуктом; благополучие человека — его

доходом; литературные произведения — числом проданных экземпляров. Современный маркетинг изобретает всё новые способы экстраполировать результаты опросов и выборочных исследований, чтобы предугадать потребительский спрос.

Значительная часть привлекательности дорогостоящих президентских праймериз в Соединённых Штатах состоит как раз в том, что они создают всё новые количественные показатели, этапы и «гонки» — всё новые массивы данных, которые можно экстраполировать на решающее голосование.

Демократия, разумеется, — политика количеств.

Она заражает нас ненасытной жадой самосбывающихся пророчеств. Внутри каждого статистического предсказания скрывается экстраполяция — неявная вера в то, что привычные категории и в будущем останутся стенами, внутри которых будет происходить наша жизнь.

Не врождённая ли это болезнь современной демократии?

Синдром бестселлера и эффект присоединения к большинству не могли бы господствовать в обществе, где информация распространяется медленно. Особые трудности такой «реактивной демократии» в огромной стране, опутанной электронными коммуникациями, ярко проявились на президентских выборах 1980 года.

Вечером в день голосования президент Картер слишком рано признал своё поражение в Вашингтоне — ещё до того, как закрылись избирательные участки в Калифорнии. В результате, как жаловались позднее другие кандидаты-демократы, многие их избиратели на Западе решили, что всё уже кончено, и вообще не пошли голосовать.

Тем самым они помогли осуществиться результату, который в момент объявления ещё вовсе не был фактом.

Попытки законодательно запретить передачу результатов выборов на Восточном побережье до закрытия участков на

Западном успеха не имели. Руководители телесетей настаивают на праве людей немедленно узнавать всё, что способна сообщить новейшая техника.

Возможно, это неразрешимая дилемма — одна из цен свободы.

Понять опасности, скрытые в наших статистических ожиданиях, можно, если рассмотреть несколько уже известных разновидностей побочных последствий. И быть готовыми к тем, о которых мы ещё не имеем ни малейшего представления.

Ожидаемые побочные продукты. Это результаты второстепенные, но заведомо сопровождающие действие, хотя само действие совершается не ради них.

Разводя огонь в камине, чтобы согреться, мы знаем, что побочными результатами будут дым и зола — причём последней найдётся применение у садоводов.

Распространение автомобиля позволяло ожидать одного социального побочного результата — появления большего количества хороших дорог с твёрдым покрытием.

Но основные наши беды породили как раз неожиданные последствия автомобиля: упадок железных дорог, автомобильные пробки, нехватка парковок, разрушение городских центров, возникновение пригородных «краевых городов», смог, загрязнение воздуха сернистыми соединениями, зрительное уродство площадок подержанных автомобилей и автомобильных кладбищ, смерти по вине пьяных водителей и угоны машин с применением насилия.

Побочные продукты, которых можно ожидать, но нельзя предсказать. Они не всегда нежелательны.

Опыт показывает, что деспотические общества, подавляя официальную литературу, способны одновременно рождать необычайно выразительные литературные реакции и яркие формы художественного протеста.

Не были ли произведения Пушкина, Достоевского и Пастернака побочным результатом тирании?

И если да — что это означает для государственной политики в области искусства и гуманитарных наук?

Американские исследовательские лаборатории существуют именно благодаря ожиданию непредсказуемого и устроены таким образом, чтобы собирать урожай побочных открытий.

Уиллис Уитни, энергичный руководитель исследовательских лабораторий General Electric в 1900–1928 годах, называл их «страхованием жизни» крупных промышленных предприятий. Возглавив лабораторию в тридцать два года, Уитни сохранил до старости ненасытную страсть к неожиданным результатам.

Задача американского инженера, говорил он, — создавать устаревание.

А устаревание — другое имя ожидаемой неожиданности.

«Постепенная цель хороших устройств — постепенное устаревание; иначе говоря, каждый день мы можем становиться немного лучше».

Но для этого и нужны исследования: никто не знает заранее, где именно окажется это «лучше».

«Директор лишь указывает направление, словно деревянная стрелка на дороге... Одиноким первопроходец мысли, снабжённый средствами, уходит так далеко в почти совершенно неизвестное, что так называемому директору остаётся только радостно следовать по новым дорогам, которые тот открывает. А все новые пути, по мере продвижения, множатся и разветвляются».

И вместе с ними возникают новые категории неожиданного.

Повседневная жизнь преобразилась под воздействием технологий, для которых ещё совсем недавно не существовало даже названий. Они никак не могли возникнуть из простой экстраполяции.

Вспомним «безлошадный экипаж» — будущее авто — или «беспроволочную связь», будущую радиосвязь. Уже сами эти названия выдавали растерянность людей перед неожиданным.

«Расщепление» атома можно было бы назвать «расщеплением нерасщепляемого».

На протяжении веков — за исключением разве что средневекового городского глашатая и муэдзина, призывавшего мусульман к молитве, — средства связи предназначались для передачи сообщения конкретному адресату.

Кому вообще пришло бы в голову платить за сообщение, адресованное никому в частности?

Радио и телевидение изменили всё.

Теперь ценность новой технологии связи определялась не скоростью доставки сообщения конкретному человеку, а количеством людей из определённой статистической категории, до которых оно дошло.

Выявление и прогнозирование этих категорий маркетологами, социологами и политическими прогнозистами стало новой разновидностью ясновидения — и большим бизнесом.

Как позволить будущему самому писать заголовки своих глав?

Сегодня, больше чем когда-либо, мы должны готовить себя к **отрицательным открытиям** — к обнаружению новых областей собственного невежества, к неприятному потрясению от осознания, что знаем гораздо меньше, чем считали.

Артур Кларк в книге *Profiles of the Future: An Inquiry into the Limits of the Possible* (1962) развил так называемый закон невозможности доказать невозможность Харви Брукса:

«Когда выдающийся, но пожилой учёный утверждает, что нечто возможно, он почти наверняка прав. Когда же он

утверждает, что нечто невозможно, он, скорее всего, ошибается».

Сам Кларк иронически пояснял слово «пожилой»:

«В физике, математике и космонавтике это значит — старше тридцати; в других дисциплинах старческое одряхление иногда откладывается до сорока. Конечно, бывают великолепные исключения; но, как известно каждому выпускнику университета, учёные старше пятидесяти пригодны лишь для заседаний советов, и в лаборатории их следует не пускать ни при каких обстоятельствах!»

Несмотря на подобные геронтофобские предрассудки, Кларк помогает увидеть профессиональные пределы пророчества.

К своему закону он пришёл благодаря одному знаменитому эпизоду в атомной физике. «Пожилым учёным» в данном случае оказался лорд Резерфорд (1871–1937) — великий новозеландский физик, открывший альфа-частицу, разработавший ядерную модель атома, ставший одним из основоположников изучения радиоактивности и заслуженно почитавшийся как Ньютон своего времени.

И всё же Резерфорд упорно утверждал: освободить и поставить на службу человеку энергию, заключённую в атоме, невозможно.

Его доводы выглядели вполне убедительно и основывались на всём, что физика знала в тот момент. Это была разумная экстраполяция законов внеатомного мира.

Резерфорд уверенно заявлял, что невозможно вызвать цепную реакцию, которая выделила бы больше энергии, чем потребовалось для её запуска.

На заседании Британской ассоциации в Лестере в 1933 году он напомнил, что именно здесь, в Лестере, в 1907 году Кельвин объявил атом неразрушимой единицей материи. Затем

Резерфорд рассказал о последних исследованиях распада атомов и продолжил:

«Эти превращения атома чрезвычайно интересны для учёных, но мы не можем управлять атомной энергией в масштабах, которые представляли бы какую-либо коммерческую ценность, и, полагаю, никогда этого не сможем. О трансмутации наговорено множество глупостей. Наш интерес к этой теме исключительно научный, и проводимые эксперименты помогут нам лучше понять строение материи».

Но уже в 1934 году, когда Энрико Ферми в Риме сумел расщепить нейтронами несколько элементов, Резерфорду пришлось поздравить его с тем, что он «сумел вырваться из теоретической физики».

А через пять лет после смерти Резерфорда, в 1942 году, именно такая «невозможная» цепная реакция была осуществлена на корте для сквоша Чикагского университета.

Резерфорд полагал, что его достижение состояло в распространении известных законов физики на новые области. Но, сам того не ведая, он открыл новый Тёмный континент.

Поэтому, говоря о четвёртом царстве, нам следует осторожнее употреблять слова «эволюция» и «развитие» — и вообще относиться с подозрением ко всяким предсказаниям, основанным на экстраполяции.

Более точное слово для описания прошлого и будущего техники — **expatiation**.

Латинские *ex* — «вне» и *spatiari* — «ходить, странствовать» — образовали глагол, первоначально означавший «свободно бродить, странствовать». Именно это слово помогает понять, почему судьбу технологии нельзя уложить в такие аккуратные и обнадёживающие формулы, как «эволюция», «выживание

наиболее приспособленных», «естественный отбор», или вывести её из тенденций, наблюдаемых сегодня.

Техника движется вперёд не поступательно — она блуждает.

Если Исаак Ньютон — идеальный образ первооткрывателя современной науки, то Томас Алва Эдисон (1847–1931) — идеальный образ изобретателя в царстве машин.

Если не считать нескольких любопытных вылазок в богословие и библейскую историю, Ньютон оставался в тесно связанных областях математики, физики, астрономии и оптики. Его гений состоял в способности свести бесчисленное множество разнородных явлений к нескольким великим математическим обобщениям. Пытаясь понять, что удерживает Вселенную вместе, он нашёл способ объединить земные явления и движение небесных тел.

Карьера Эдисона представляла почти театральный контраст.

В его достижениях не было никакой теоретической цельности. Они не являлись ни следствием общих теорий, ни источником таких теорий. В лучшем случае Эдисон оставил после себя набор бодрых афоризмов о пользе тяжёлого труда, вдохновения, удачи и неутомимого поиска новинок, которые можно продать.

Он прекрасно сознавал случайность собственных достижений.

«Учёный занят теорией, — говорил Эдисон в 1888 году. — Он совершенно непрактичен. Изобретатель же практичен по самой своей природе. Я не хочу изобретать того, что нельзя продать. Продажа доказывает полезность, а полезность — это успех».

Тайны Вселенной его почти не интересовали. Его занимали неразгаданные тайны рынка.

Что способен купить предполагаемый покупатель?

Эдисон считал, что кинематограф вряд ли окажется прибыльным, и получил в этой области всего девять патентов.

Зато он был одержим мечтой о богатствах горного дела и получил шестьдесят два патента на новые способы обогащения руды.

Огромные вложения в экономически бессмысленные горные технологии едва не привели его к банкротству.

Как отмечал его биограф Роберт Конот, Эдисон менял направление изобретательской деятельности вслед за ветрами общественного увлечения: от телеграфа и телефона — к лампе накаливания и рентгеновским лучам, затем к электромобилю и домашнему производству каучука.

Когда же он случайно вступал на путь, ещё не привлёкший общественного интереса, — например, фонографа, беспроводной телеграфии или кинетоскопа, — он колебался, пока не появлялись отчётливые коммерческие перспективы.

Иногда, впрочем, разгоревшийся азарт заставлял его действовать, не дожидаясь уверенности, что изобретение удастся продать.

В 1874 году двадцатисемилетний Эдисон пытался создать телеграфный аппарат, который автоматически записывал бы поступающие сообщения и тем самым избавлял от необходимости держать телеграфиста у приёмника.

Он экспериментировал со стилусом, оставлявшим след на бумаге, пропитанной химическим веществом.

И неожиданно обнаружил: если обернуть бумагу вокруг цилиндра, а стилус и цилиндр подключить к батарее, трение стилуса уменьшается по мере увеличения силы электрического тока.

В январе 1875 года Эдисон запатентовал устройство, назвав его электромотографом, а затем несколько месяцев пытался придумать ему применение.

Он предполагал, что, подобрав подходящее химическое вещество для пропитки бумаги, сможет заменить

электромагнит, использовавшийся тогда в телеграфных приёмниках.

Эти поиски случайно вывели его на границу того, что впоследствии стало одним из богатейших «тёмных континентов» физики, — в область полупроводников, транзисторов и компьютеров.

Для покрытия электромотографа он перепробовал все известные элементы — от алюминия до циркония — и исследовал органические вещества, полученные из сорных трав, мокрицы, дикой вишни, одуванчика, кошачьей мяты и множества других растений.

Его лабораторный партнёр Бэтчелор однажды написал:

«Перепробовав 15 262 842 981 различных растворов бразильского дерева, мы пришли к выводу, что оно ни черта не годится».

Однажды утром, вдохновлённые завтраком, они даже изготовили смесь из кофе, яиц, сахара и молока, после чего записали:

«Феномен. Уменьшение трения в кислороде».

Но Эдисон так никогда и не стал исследовать более глубокий смысл необычных свойств полупроводников.

От начала до конца его поиски были беспорядочны.

Составленный им в 1875 году список из двадцати процессов и изделий, которые стоило бы изобрести, включал способ получения ковкого железа из чугуна; метод растворения опилок для изготовления дешёвого заменителя чёрного дерева, твёрдой резины или целлулоида; лампы, которая горела бы ярко без дымохода; дешёвый способ переработки бедных руд; «сексдуплексный» телеграф и дешёвый способ печати.

Когда Эдисон умер в 1931 году, список его реальных изобретений оказался ещё более пёстрым.

Кроме пунктов из раннего списка, в него входили телеграфные повторители, печатающие устройства, перфораторы, мимеограф, электрическое перо, квадруплексный телеграф, музыкальный телефон, громкоговоритель, фонограф, лампа накаливания, усовершенствованный генератор, электродвигатель и электровоз, сепараторы руды, цементный завод, кинетоскоп и киноаппаратура, щелочной аккумулятор, усовершенствования пишущей машинки, автожир и бесчисленное множество других вещей.

Всего он получил 1093 патента.

Но при всём своём невероятном изобретательском даре Эдисон оставался именно изобретателем.

За долгую жизнь он почти ничего не добавил к фундаментальному научному знанию.

Единственное исключение — явление, впоследствии получившее название «эффект Эдисона», — было открыто совершенно случайно, когда он пытался усовершенствовать лампу накаливания.

И эта история опять показывает границы его интересов.

В 1883 году во время опытов Эдисона озадачило тёмное пятно, возникавшее внутри лампы. Он обнаружил, что раскалённая нить испускает отрицательно заряженные частицы.

Эдисон всё же запатентовал это явление как возможный принцип измерительного прибора. Но поскольку немедленного коммерческого применения не нашлось, он потерял к нему интерес.

Зато его помощника Джона Амброза Флеминга заинтересовала сама физическая загадка, и он продолжил исследования.

Через Флеминга сведения, обнаруженные Эдисоном, но оставленные им без внимания, попали в руки великого физика Дж. Дж. Томсона и в 1895–1897 годах помогли ему

сформулировать судьбоносную гипотезу о существовании электрона.

Двадцать лет спустя тот же ключ подсказал Флемингу и Маркони возможность использовать двухэлектродную лампу для обнаружения радиоволн — и стал одним из важнейших путей, ведущих в электронную эпоху.

Карьера Томаса Эдисона — образцового изобретателя четвёртого царства — показывает: если у изобретательства и существует какой-то закон, то это не закон эволюции и не закон линейного прогресса.

Expatiate — свободно бродить, блуждать, играть с задачей — вот истинный способ изобретателя.

Исследователь ведёт систематический поиск, и добыча его — Истина.

Эдисона правильнее было бы назвать не исследователем, а странником.

Он играл в мире практических потребностей, отправляясь туда, куда вели его случайное любопытство и прихоти рынка.

Изобретатель — Эдисон на границах четвёртого царства — свободен от уверенных запретов научного знания.

Даже слово «граница» здесь, пожалуй, вводит в заблуждение. Оно предполагает существование ясной черты между известным и неизвестным.

Но человек, ищущий в царстве машин, охотится не за знанием. Он ищет новизну, а её границы проходят повсюду.

«Когда я экспериментировал с лампой накаливания, — признавался, а скорее хвастался Эдисон, — я не понимал закона Ома. Более того, я и не хотел понимать закон Ома. Он помешал бы мне экспериментировать».

В наше время царство машин породило ещё одну новую проблему.

Используя самые совершенные технологии для уточнения своих статистических ожиданий, мы неожиданно сталкиваемся с бесконечно большим и бесконечно малым.

Радикальное изменение масштабов нашего мышления всё чаще уводит его за пределы повседневного опыта.

Одним из утешений библейской картины Творения и природы было то, что даже величайшие загадки оставались заключены в понятные человеку размеры.

Ладонь и локоть были мерами собственного тела; месяцы, годы и поколения были знакомы каждому.

Но телескоп и микроскоп, достижения атомной физики, микробиологии и астрофизики изменили массовое представление о мире чисел.

Ни один человек не способен на опыте почувствовать, что такое световой год.

Для нас, неспециалистов, граница между конечным — тем, что ещё можно вообразить, — и бесконечным, то есть уже невообразимым, начинает растворяться.

Эдвард Каснер и Джеймс Ньюмен в книге *Mathematics and the Imagination* (1940) заметили, что у готтентотов бесконечность начинается с трёх.

«Спросите готтентота, сколько у него коров, и, если их больше трёх, он ответит: “Много”».

Сегодня мы страдаем от похожей нехватки повседневного словаря — только растерянность начинается у нас с гораздо больших чисел.

Попытки представить себе обычные для современной физики количества быстро уводят нас за пределы вообразимого.

Например, число электронов, проходящих за одну минуту через нить обычной пятидесятиваттной лампы, равно числу капель воды, падающих за целое столетие с Ниагарского водопада.

А число электронов в одном-единственном листе дерева значительно превышает число пор во всех листьях всех деревьев на Земле.

Нам говорят, что именно здесь обнаруживается принципиальная разница между очень большим числом и бесконечностью.

«Большое число велико, но оно определённо и конечно».

Чтобы помочь людям представить себе эту разницу, Каснер и Ньюмен придумали новое слово.

Доктор Каснер попросил своего девятилетнего племянника придумать название для огромного числа — единицы со ста нулями.

Сообразительный мальчик предложил слово **гугол**.

Для ещё большего числа он придумал **гуголплекс**.

Авторы решили и сами немного поупражнять воображение, чтобы объяснить неспециалистам масштаб этого числа.

Сначала они предложили определять гуголплекс как единицу, за которой нужно писать нули до тех пор, пока не устанешь.

Но затем решили, что определение недостаточно строго: разные люди устают в разное время.

Поэтому в окончательном виде гуголплекс был определён как десять в степени гугол.

Это, подчёркивали они, «чрезвычайно большое, но конечное число» — больше даже количества всех слов, когда-либо напечатанных в *Congressional Record* Соединённых Штатов.

Чтобы записать его полностью, не хватило бы места, даже если отправиться к самой дальней звезде, пролететь через все туманности и через каждый дюйм пути записывать по одному нулю.

И всё же, пытаясь осмыслить размеры Луны, мы жалко возвращаемся к знакомым сравнениям — вроде количества футбольных полей.

Похожая трудность возникает при попытке представить бесконечно малое.

Эта проблема мучает математиков уже две тысячи лет.

Парадокс Зенона и другие загадки словно вынуждали определять бесконечно малое ценой отрицания самой возможности движения и изменения.

Великий математик Лейбниц (1646–1716) однажды попытался объяснить бесконечно малое своей язвительной подруге Софии Шарлотте (1668–1705), королеве Пруссии и знаменитой покровительнице искусств.

Королева заверила его, что помощь философа или математика ей совершенно не требуется: поведение придворных уже превосходно познакомило её с понятием бесконечно малого.

Два века спустя Бертран Рассел заметил, что философы и математики, «меньше знакомые с придворной жизнью, продолжали обсуждать этот предмет, хотя и без особого продвижения вперёд».

Сегодня неспециалисту всё труднее постичь количественный смысл как научных явлений, так и социальных проблем.

Ещё в 1940 году Каснер и Ньюмен тревожились о нашей неспособности почувствовать внешний предел конечного.

Первое зафиксированное употребление английского выражения «атомная бомба» относится к научной фантастике Герберта Уэллса 1914 года.

С тех пор развитие вооружений, физики, астрофизики и микробиологии, открытия сверхновых и чёрных дыр, электронных телескопов и электронных микроскопов ввели

бесконечно большое и бесконечно малое в повседневный язык науки.

Что бы ни говорили математики, граница между конечным и бесконечным для обычного человека всё чаще кажется несущественной и педантичной — особенно когда нам сообщают, что ядерный арсенал великих держав обладает разрушительной мощностью, более чем в двести тысяч раз превосходящей ту, что уничтожила Хиросиму.

Но количественные масштабы выходят из-под нашего контроля не только в физических науках.

История тоже постепенно приобретает размеры бесконечности.

До XVIII века христиане Западной Европы чувствовали себя вполне уютно в хронологии мира благодаря учёным заверениям архиепископа Ашшера.

В 1654 году он объявил, что описанное в Книге Бытия Сотворение мира произошло **26 октября 4004 года до н. э. в девять часов утра.**

Но археология, геология, палеонтология и другие науки растянули историю Земли на миллиарды лет — масштабы, уже не уместящиеся в повседневном воображении.

Наши слабые попытки сделать их понятными принимают форму сравнений: если представить всю историю планеты как один день, то время существования человека займёт в нём лишь несколько минут.

А стоит заглянуть в зоны Вселенной — и человечество превращается в короткий нервный сбой на плёнке бесконечно долгого фильма.

Исследования дальнего космоса испытывают наше воображение ещё сильнее.

Цифры, которыми нам пытаются сделать опыт понятным, сами становятся символами всё большей непостижимости опыта.

Возьмём, например, Библиотеку Конгресса.

Два канонических показателя описывают масштаб этой огромной библиотеки: книги каталогизируются на 468 языках — теперь, как мне сообщили, уже на 478, — а новые материалы поступают со скоростью полтора экземпляра в секунду рабочего времени.

Для обычного человека эти числа способны выразить лишь одно: масштабы приобретения, каталогизации, хранения, сохранения и поиска материалов здесь уже приближаются к невообразимому.

То же самое происходит в экономике — главной социальной науке нашего времени.

Примерно тогда же, когда в английском языке появилось выражение «атомная бомба», возникло и слово «макрэкономика» — изучение экономики в крупном масштабе, «совокупных измерений экономической жизни».

Накопление национальной и международной статистики всё увеличивало числа, которыми оперируют макроэкономисты, и одновременно усиливало растерянность обычных граждан.

Каждый американец понимает разницу между процентной ставкой в 8 и 11 процентов.

Но лишь немногие способны действительно представить себе смысл дефицита в 300 миллиардов долларов или национального бюджета размером более триллиона.

Наш государственный бюджет стал мучительной общенациональной проблемой отчасти именно потому, что его размеры превышают возможности обыденного восприятия.

Стоит ли удивляться, что мы с таким удовольствием спасаемся в более управляемых цифрах спорта, преступности, выборов, лотерей и биржевых котировок?

И чем сильнее раздуваются количественные масштабы социальных проблем, тем настойчивее звучат жалобные призывы вспомнить о «качестве жизни».

Но что означает сегодня в Соединённых Штатах выражение «качество жизни»?

Пожалуй, не самым плохим определением будет следующее:
качество жизни — это всё то, что невозможно исчерпывающе выразить количеством.

Сюда, разумеется, относятся вера, любовь, образованность, искусство, человеческая самореализация, история — и сама жизнь.

Но неужели самое важное для нас мы способны определить лишь как остаток — как то, что осталось после подсчётов?

А может быть, всё наоборот.

Может быть, именно статистическая сторона жизни и есть остаток. Самосбывающиеся пророчества, из власти которых освободить нас можем только мы сами.

Искусственный отбор

«Мы живём в эпоху, когда ненужные вещи стали нашей единственной необходимостью».

— Оскар Уайльд

«Если можно сделать сложно — делай сложно».

— Руб Голдберг

У всякого животного или растительного организма есть определённый, ограниченный круг потребностей. Мы можем довольно точно назвать температуру, количество осадков и высоту над уровнем моря, при которых он будет процветать, перечислить необходимые ему питательные вещества и описать среду, где он сможет укрыться, устроить гнездо и оставить потомство. Знать этот необходимый минимум обязан каждый, кто имеет дело с животным или растительным царством: садовод, птицевод, животновод, фермер, служитель зоопарка. Для человека этот минимум составляет так называемый «прожиточный уровень» — «самые скромные средства в виде пищи, крова и одежды, необходимые для поддержания жизни».

Но человека делает человеком, разумеется, нечто большее, чем его «животные» потребности. И здесь мы выходим к границам того, что вообще поддаётся определению. Мы называем человека *Homo sapiens* — человеком разумным, имея в виду его потребность знать, и уже этим признаём невозможность установить предел человеческим потребностям. Когда же мы называем его *Homo faber* — человеком созидающим, потому что ему необходимо делать; *Homo credens* — человеком верующим, потому что ему необходимо верить; или *Homo ludens*

— человеком играющим, потому что ему необходимо играть, — мы прибавляем неопределённое к бесконечному.

Что означают эти характерно человеческие потребности для нашей способности охватить разумом — или хотя бы вообразить — собственное будущее? Все эти склонности сходятся и особенно ярко обнаруживают себя в **четвёртом царстве**. Мир, созданный самим человеком, наглядно показывает некоторые принципиальные различия между потребностями существ животного и растительного мира, с одной стороны, и потребностями человека в мире машин — с другой. Мы уже видели, как процесс вытеснения — птеродоны уступают место птицам — господствовал в истории смены биологических видов и словно подводил под неё итог. Поскольку биологическая эволюция представляется нам историей замены одних видов другими, всё лучше отвечающими неизменным требованиям своей среды, и возникновения новых видов, заполняющих новые экологические ниши, мы охотно предположили, что нечто подобное происходит и в технике. Но здесь есть решающее отличие. Новые машины лишь иногда изобретаются в ответ на уже существующие, устойчивые потребности. Гораздо чаще созданная человеком новинка сама становится способом **изобрести новую потребность**.

Мы, американцы, особенно склонны смотреть на технические и общественные перемены как на непрерывное вытеснение старого новым. Мы легко выбрасываем прошлогоднюю модель: перемены в нашей стране слишком часто происходили с ослепительной быстротой. Американцев не без основания называли народом, который вечно спешит. Наша страна — родина быстрого обеда. Тот же ускоренный ритм породил фастфуд, трансконтинентальную железную дорогу, построенную с невиданной скоростью, конвейер, супермаркет, столовую самообслуживания, банк, обслуживающий клиента

прямо из автомобиля, и бесчисленные услуги «пока вы ждёте». Каким-то образом мы привыкли думать, будто вся история — это тоже услуга «пока вы ждёте»: всё можно закончить быстро, ещё до того, как истечёт время на парковочном счётчике. Скорость появления новых изобретений и выхода новых машин на рынок лишь укрепила нас в этом представлении о самих себе. В 1876 году в Соединённых Штатах было всего около трёх тысяч телефонов; через двадцать лет, в 1897-м, — уже полмиллиона. В 1900 году у нас насчитывалось лишь четыре тысячи автомобилей, в 1915-м — почти миллион, в 1916-м — полтора миллиона. Первая радиостанция получила лицензию в 1921 году, и она была единственной; в 1923 году в стране уже имелось полмиллиона радиоприёмников, а в 1924-м — полтора миллиона. В 1941 году появились первые две телевизионные станции; в 1948-м насчитывалось уже почти миллион телевизоров, а к 1949 году — три миллиона. Компьютеры и текстовые процессоры распространялись не менее стремительно. Номера факсов внезапно появились на наших фирменных бланках и визитных карточках. Есть ли вообще новая технология, которую американцы не приняли бы мгновенно?

Но события будущего и новые технологии никогда как следует не помещаются в ячейки, приготовленные прошлым. Интрига состоит не в том, что лучше выполнит уже знакомую функцию, а в том, **какие совершенно новые функции ещё будут придуманы**. Перед нами не новая труппа, играющая старые роли; телевизор не просто исполняет роль кино или радио. Меняется сама пьеса. Машина — это имя нашего продвижения в неизвестное и непредсказуемое по мере того, как расширяется человеческий опыт. Пока другие размышляли, как вывести лучшую породу лошадей, Генри Форд воображал мир без лошадей. Автомобиль породил бесчисленные новые

потребности и возможности: кредитные карты, торговые центры, пригороды, банки для автомобилистов и многое другое. Мы не способны предсказать, каким образом технология преобразит человеческий опыт, но одно можно утверждать с уверенностью: технология будет **умножать потребности**.

Разумеется, составить каталог непредсказуемого невозможно. Но, вспоминая опыт, накопленный с наступлением царства машин, мы можем хотя бы освободить воображение от старых рамок. Можно перечислить несколько способов, которыми новые обитатели четвёртого царства изменили нашу жизнь.

Изобретения расширяют опыт. В целом изобретения действуют накопительно, каталитически и экспансивно. Потребность рождает потребность. Обратная связь здесь не исключение, а правило. Могущество изобретения измеряется силой и размахом порождаемой им обратной связи. Самый очевидный пример — возникновение и распространение книгопечатания и подвижного шрифта в западной цивилизации. До появления печати, до печатных книг, собственно говоря, почти не существовало и потребности в книгах. В эпоху рукописной книги европейскому переписчику требовалось целых шесть месяцев, чтобы изготовить один том. В крупнейших скрипториях одновременно трудились до пятидесяти профессиональных писцов, но даже такое заведение за год производило лишь около сотни рукописей. Читать умели немногие, кроме духовенства и учёных. Лавочник выставлял у входа изображение сапога или шест цирюльника, чтобы прохожий понял, чем здесь торгуют; сегодня такие вывески превратились в желанные предметы народного искусства. В позднесредневековой и ранненовой Англии неграмотность была столь обычной, что возник юридический институт так называемой *привилегии духовенства*: духовное сословие по

традиции освобождалось от юрисдикции светского суда. Если обвиняемый умел читать, закон предполагал, что он принадлежит к духовенству, и тем самым избавлял его от наказания королевского суда.

Едва ли будет большим преувеличением сказать, что **печатная книга создала грамотность**. Книги создали потребность в книгах. Сами печатники превратились в новый значительный рынок. Когда в Европе XVI–XVII веков благодаря печати Библии и религиозные трактаты подешевели и стали гораздо доступнее, недавно научившиеся читать прихожане начали с большим подозрением относиться к посредничеству священников. Они захотели сами читать и толковать священные тексты, что наряду с другими причинами способствовало Реформации и массовому отпадению от Римско-католической церкви. К середине XVIII века дешёвая массовая книга помогла родиться новым литературным формам. Ричардсон, Филдинг, Смоллет и другие писали романы, рассчитанные в том числе на женщин, которые всё чаще умели читать и становились покупательницами книг. В XIX веке удешевление бумаги и совершенствование печатных машин породили массовые газеты и журналы для массового читателя. А ежедневная газета, в свою очередь, усилила потребность в ещё более дешёвой бумаге и ещё более быстрых печатных станках.

Когда письменное слово стало печатным, обратная связь, которую оно порождало, неожиданно расширила и преобразила человеческий опыт. Стандартная нумерация страниц печатной книги позволила создавать стандартные указатели, а значит, читателю стало легче находить ссылки и проверять источники. Теперь он мог собственными глазами убедиться, действительно ли в книге сказано то, что утверждали священник или профессор, — и все читатели получили возможность ссылаться на «авторитеты» против самого авторитета. Правда,

распространение стандартных печатных версий некоторых почитаемых научных текстов — например, сочинений Галена по анатомии — одновременно закрепляло и их ошибки. Но оно же создавало общий предмет обсуждения и общий запас знаний для быстро растущего грамотного сообщества. Литература на народных языках способствовала становлению самих этих языков — а вместе с ними и наций. Повсюду печатные книги раздвигали перед читателем горизонт: открывали общение с поэтами, философами и историками древности, с современниками, жившими за тысячи миль, и словно давали человеку широкоугольный объектив, обращённый на мир.

Изобретения переопределяют опыт. Они создают новые единицы измерения жизни и новые границы между её частями. Они усиливают потребность в машинах, которые, в свою очередь, создают новые достоинства и новые пороки, новые выгоды и новые товары. Трудно найти более наглядный пример силы технологической обратной связи, чем часы. Изобретение и массовое производство часов породили потребность и спрос на часы. Пока часы не стали принадлежать многим или хотя бы быть доступными многим, отдельному человеку не было особой нужды иметь их самому. Зачем приходить «точно вовремя», если никто другой не способен этого сделать?

Один из удивительных фактов истории техники заключается в том, что на протяжении большей части человеческой истории люди располагали лишь самыми грубыми средствами измерения времени. Часы вошли в жизнь европейских общин лишь в позднем Средневековье — и сперва служили для обозначения времени богослужений. Старейшие сохранившиеся механические часы находятся в Солсберийском соборе в Англии и датируются приблизительно 1380 годом. В древности, насколько нам известно, механических часов не существовало: время определяли по солнечным часам — пригодным лишь днём

и при солнечной погоде, — по песку в песочных часах или по воде в клепсидре. Огромные часы на церквах и ратушах были своего рода общественной инфраструктурой — наподобие водопровода или канализации: они сообщали людям время, когда другого способа узнать его попросту не было. До XIX века владение часами оставалось признаком богатства, а карманные часы были ещё большей редкостью, почти разновидностью драгоценности. Поэтому и само ощущение времени в XVIII веке было иным. Если человек приходил к Джорджу Вашингтону или Томасу Джефферсону в пределах пятнадцати минут или получаса от назначенного времени, он считался пунктуальным. Пунктуальность едва ли могла считаться добродетелью, когда большинство людей физически не имело средств быть пунктуальными. Бенджамин Франклин перечислил в *Автобиографии* двенадцать суровых добродетелей, в которых собирался совершенствоваться, посвящая каждой по месяцу. Пунктуальности среди них нет — просто потому, что обеспечить её было невозможно. Молодые Соединённые Штаты поражали мир дешёвыми долларовыми часами, изготавливавшимися по принципу взаимозаменяемых деталей Эли Уитни; не случайно именно эта страна одновременно стала родиной быстрого обеда и молодых людей, которым всегда некогда.

Как часы заново определили наше переживание времени, так фотоаппарат заново определил зрительный опыт. Известна история о матери, гулявшей с младенцем в парке. Подруга восхитилась красотой ребёнка. «Это ещё ничего, — гордо ответила мать. — Вы бы видели его фотографию!» Распространение фотоаппаратов, разумеется, само породило потребность в фотоаппаратах. Ни один уважающий себя отец уже не мог обойтись без фотографий своих детей — и без камеры, чтобы запечатлеть их взросление. Для актрисы стало менее важно быть красивой, чем быть «фотогеничной» — слово,

появившееся в английском языке примерно в 1928 году. А для туриста едва ли найдётся предмет более необходимый, чем фотоаппарат.

Изобретения создают сумеречные зоны. Прежние различия между областями опыта растворяются, становятся туманными. Возникают новые пограничные пространства, спутывающие самые очевидные разграничения здравого смысла: между прошлым и настоящим, непосредственным и воспроизведённым, мёртвым и живым. Телезритель не всегда уверен, смотрит ли он прямой эфир или запись; зрителю в кино вовсе не обязательно знать, жив ли актёр, которого он видит на экране. Позвонив в авиакомпанию или музей за информацией, мы порой не понимаем, отвечает ли нам живой человек или «записанное сообщение». Фотография, звукозапись, кино, телевидение и прочие электронные средства стали высшим проявлением способности машины создавать такую неопределённость. Видеомагнитофон и его конкуренты окончательно уничтожают последние временные границы самого понятия «эфир».

Изобретения необратимы. Поскольку никто ещё не изобрёл способа «разизобрести» машину или гарантировать её исчезновение, потребности в машинах могут лишь множиться. Рост числа автомобилей усиливает потребность в общественном транспорте — автобусах, метро, самолётах, — но почему-то нисколько не уменьшает спрос на автомобили. Чем больше мест становится доступно на автомобиле и чем чаще оказывается, что там негде его оставить, тем сильнее потребность в парковках, парковочных счётчиках и многоэтажных гаражах — опять-таки без малейшего сокращения спроса на сами автомобили.

Изобретения всё настойчивее вторгаются в нашу жизнь. Технический прогресс нашего времени показывает, насколько уменьшается наша способность оградить повседневность от

новинок и их последствий. Автомобильные выделения делают дыхание в больших городах всё труднее и опаснее. Другой очевидный пример — телевидение. Когда-то родители беспокоились о том, как донести до детей те идеи, которые считали полезными. Теперь приходится пытаться «дозировать» телевизионный опыт, уже поселившийся в гостиной. Хотим мы того или нет, поток льётся внутрь дома, и главная трудность уже не в том, как его получить, а в том, как остановить. Один отчаявшийся оптимист, желающий сохранить хотя бы иллюзию контроля, утешает себя мыслью «обо всех рекламных роликах, старых фильмах, вестернах, политиках, комиках, викторинах, мыльных операх и прочих вторжениях, которые мы можем не пустить к себе в дом простым поворотом одной маленькой ручки». (Умножение кабельных каналов подарило каждому из нас грандиозную новую власть — власть исключать.) Но теперь во всё большем числе домов такая ручка есть в каждой комнате, и включить её, похоже, гораздо легче, чем выключить. Историю всех великих разрастаний техники — от автомобиля до компьютера — можно написать как историю всё более глубокого вторжения машины во все щели нашей повседневной жизни.

Есть одна вещь, которую не измеряет валовой национальный продукт: **растущее производство желаний**. Соединённые Штаты, которые не вполне точно называют страной беспрецедентного богатства, с тем же основанием можно назвать страной беспрецедентных потребностей. Наша нация выросла благодаря своей потребности в ненужном — а это ещё одно имя человеческого прогресса. Возможно, наше продвижение вперёд следовало бы измерять не количественным показателем «производительности», не валовым национальным продуктом, а каким-нибудь качественным показателем размножающихся «потребностей».

Существуют ли в четвёртом царстве законы, подобные естественному отбору и выживанию наиболее приспособленных, которые, как предполагалось, регулируют размножение растений и животных? Можем ли мы предсказать жизнеспособность или продолжительность жизни конкретной машины? Согласно Томасу Мальтусу, поскольку население растёт в геометрической прогрессии, а производство пищи — лишь в арифметической, необходимость ограничивать или сокращать численность людей постоянно возрастает. Дарвин и Уоллес заметили, что в любой данной среде неизбежна борьба за существование: средства к жизни ограничены, а число конкурирующих организмов растёт. Старые виды исчезают, новые появляются. Со временем численность организмов в данной среде должна относительно стабилизироваться — неудачливых и неприспособленных просто больше нет.

В четвёртом царстве — царстве машин — подобных ограничивающих условий уже не существует. «Среда», которая для живых существ предоставляла лишь конечное и ограниченное количество средств существования, для машин стала практически безгранично, а может быть и бесконечно, расширяемой. Человеческие «потребности» не имеют предела и никогда не бывают удовлетворены окончательно. В мире природы человек иногда вмешивается посредством «искусственного отбора» — контролируемого разведения, скрещивания, уничтожения сорняков, хищников или нежелательного потомства. Иногда, конечно, как в случае странствующих голубей, американских журавлей, тигров или китов, человеческое вмешательство способно поставить под угрозу или вовсе уничтожить целый вид. Но в природе это всё же исключение, а не правило; в масштабах планеты процессы естественного отбора — конкуренция за ограниченные ресурсы

среды — продолжают, обеспечивая господство одних видов и упадок или исчезновение других.

Но в царстве машин **искусственный отбор — правило**. Мальтузианское уравнение переворачивается. Машины существуют за счёт человеческих желаний, или «потребностей». А те растут в геометрической прогрессии, откликаясь на столь же геометрический рост числа машин. Новые машины создают новые «потребности», а новые потребности рождают новые машины. Поэтому выживание конкретной машины определяется сочетанием её собственных качеств и эффективности дополнительной машинерии, призванной пробудить соответствующую потребность, — то есть рекламы. В свободном обществе, где изобретатели, разработчики, изготовители и торговцы сравнительно свободны в том, чтобы катализировать «потребность», лучшей рекламой всякой новой машины становится сама машина. Реклама автомобиля, радио, телевизора или компьютера оказывалась слабым стимулом по сравнению с непосредственным опытом: проехать в автомобиле, услышать радио, посмотреть телевизор у соседа или самому попробовать компьютер.

Проклятие первородного греха, за который Адам и Ева были изгнаны из Эдема, стало прародителем трудовой теории стоимости. «В поте лица твоего будешь есть хлеб», — сказал Бог Адаму, — «доколе не возвратишься в землю» (Быт. 3:19). Поэтому стремление человека сократить труд — уменьшить «пот лица своего» — или хотя бы сделать труд переносимее воспринималось как путь к освобождению от проклятия первородного греха. Материалистические и экономические истолкования истории обычно исходили из того, что желание человека избавиться от труда является движущей силой человеческой истории. Однако Джон Стюарт Милль мудро сомневался в том, что «все когда-либо созданные механические

изобретения облегчили хотя бы одному человеку его дневной труд». Карл Маркс, отталкиваясь от того, что считал очевидной истиной, объяснял, почему современные машины и энергия пара сделают жизнь всё более невыносимой, умножат страдания и в конце концов приведут к революциям, а затем — к отмиранию частной собственности и государства. Но в мире машин старое различие между праздностью — которой Маркс любил характеризовать владельцев средств производства — и трудом становилось всё более неуловимым и трудно применимым. Например, как показала Рут Шварц Коуэн в книге *Большие работы для мамы*, усложнение бытовой техники вовсе не сократило трудовую нагрузку американской домохозяйки среднего класса — оно лишь изменило её, сделав более разнообразной и сложной. И положение домохозяйки здесь вовсе не уникально.

Всё это означает, что, готовясь к будущему, мы должны найти **новый язык для неожиданного**. Нам необходимо освободиться от дарвиновских и статистических ожиданий и наконец признать способность человека — и его склонность — **изобретать проблемы**. Мы должны быть готовы к блуждающей непредсказуемости изобретений и бесконечности потребностей. Унаследованные лозунги придётся пересмотреть — а некоторые перевернуть. Из старых поговорок, доставшихся нам от фермерской эпохи, от века биологии, одна из самых известных гласит: «**необходимость — мать изобретения**». Она пришла из времени, когда человек обыскивал окружающую среду, пытаясь удовлетворить основные животные нужды. Человеческая техника воспринималась лишь как более высокая ступень того же поведения, которое заставляет шимпанзе взять палку и сбить ею банан, чтобы утолить голод. Но в царстве машин мы утратили даже способность точно определить и ограничить условия элементарного животного выживания.

Сколько бы мы ни говорили о «выживании», в Соединённых Штатах лишь небольшому и несчастному меньшинству знакомо, что значит жить на уровне простого существования. Американская экономика определяется не производством пищи, а производством — или прекращением производства — автомобилей, электронной техники, ядерных и других сложных средств ведения войны; их сырьём, обслуживанием и устареванием. Военные технологии, бесспорно, становятся всё более мощными средствами уничтожения, но технологии мирного времени занимают нас главным образом вещами необязательными. Именно они и являются отличительным признаком «развитого» общества.

Для нас уже не необходимость стала матерью изобретения. Изобретение стало матерью необходимости.

• • •

Существуют ли какие-нибудь новые аксиомы, способные описать то, чего нам следует ожидать в царстве машин? Признав — как сегодня мы обязаны это признать, — что человек есть животное, изобретающее проблемы, мы должны сделать своё представление о будущем столь же открытым, как знание, столь же непредсказуемым, как игра, столь же неожиданным, как человеческое воображение и изобретательность. И всё же, возможно, несколько осторожных правил помогут нам лучше подготовиться к неожиданному. Следующие аксиомы говорят не о пределах будущего, а о **пределах пророчества**. Быть может, они дадут нам хоть какие-то зацепки в мире непредсказуемого.

Невозможно доказать невозможность. Наши прогнозы никогда не должны исходить из предположения, что нечто сделать невозможно. «Мой опыт, — вспоминал на склоне лет Томас А. Эдисон, — говорит мне: для каждой задачи, которую Господь мне поставил, Он приготовил и решение. Если мы с вами

не можем его найти, давайте честно признаем, что мы с вами — чертовы дураки. Но при чём здесь Господь?» Что могло казаться более незыблемой истиной, чем убеждение, что голоса и движущиеся образы живых людей должны умереть вместе с ними?

Технология движется блуждающими путями. Кто способен предсказать, какая техническая задача, какое обыденное дело или какой каприз фантазии следующим захватит воображение смелого изобретателя? Машины порождают машины, побочными продуктами которых становятся ещё более непредвиденные машины — и ещё более непредвиденные машины, необходимые для их изготовления; каждая из них, в свою очередь, способна породить бесчисленные случайные последствия. Автомобиль помог создать современный конвейер. Кто способен угадать, что конвейер ещё поможет нам создать?

Технология усложняется. Нет такой задачи, которую нельзя было бы выполнить с помощью ещё более сложной машины. Истинный пророк царства машин — не Чарльз Дарвин и не Фредерик Тейлор, а Руб Голдберг: **«Сделай это самым трудным способом!»** Выживание нечеловеческого организма действительно может определяться экономией средств и эффективностью в данной среде. Физические процессы могут подчиняться закону энтропии, при котором доступная энергия постепенно уменьшается. Но творческие силы царства машин, наоборот, умножаются по мере усложнения. У человека «потребности» порождают новые потребности и вызывают к жизни новую изобретательность. Изобретательная способность всегда превосходит уже возникшие потребности. Каждое усложнение рождает следующее, и темп всё ускоряется.

Жизнеспособность машины зависит от её способности создать собственную потребность и породить среду, в

которой она станет необходимой: таков закон искусственного отбора. Поэтому привлекательность и способность новой машины выжить нельзя оценить до того, как сама машина появится на свет. А затем её долговечность зависит от непрерывной способности — подстёгиваемой конкуренцией новых машин — мутировать, создавать и обслуживать всё новые потребности. Миниатюризация унифицирует среды и одновременно умножает их потребности. Благодаря «Уокмену» и его потомкам мы всё большую часть своей среды буквально носим на себе — и делаем её подвижной.

Технология становится всё менее понятной тем, кто ею пользуется. По мере роста числа потребителей и ускорения процесса усложнения всё шире становится пропасть в знаниях между теми, кто создаёт и обслуживает машины, и нами — их пользователями. Чем больше становится мощь технологий, тем меньше гражданин понимает, как они устроены. Можем ли мы — и должны ли — примириться с тем, что повседневная жизнь становится для нас всё большей тайной?

15 ВЕЛИКОЕ РАСХОЖДЕНИЕ

**«Наука — превосходный предмет обстановки для
верхнего этажа человеческого ума, если на первом
этаже у него имеется здравый смысл».**

— Оливер Уэнделл Холмс, *Поэт за завтраком*

В годы основания Американской республики, в конце XVIII века, мудрый и учёный Джон Адамс сформулировал недоумение, которое не покидает нас и сегодня. «При столь всеобщем совершенствовании — или, точнее, преобразовании нравов и развитии науки, — спрашивал он в 1786 году, — разве не удивительно, что знание принципов и устройства свободных правительств, от которых столь глубоко зависят счастье человеческой жизни и дальнейшее совершенствование образования, общества, знания и добродетели, — разве не удивительно, что всё это оставалось почти неподвижным на протяжении двух или трёх тысяч лет?» И добавлял: «Принципы политической науки были столь же хорошо понятны во времена, когда заржал конь Дария, как и в нынешний час».

Уже в следующем, 1787 году, когда Джон Адамс находился в Британии в качестве посла молодой страны, пятьдесят пять человек, собравшихся с 25 мая по 17 сентября в Индепенденс-холле в Филадельфии, при ярком свете современной истории создадут новые федеральные представительные институты. Беспрецедентным был и способ их создания, и сам результат. Не менее удивительной окажется жизнеспособность американской Конституции.

Мрачноватое замечание Джона Адамса, задуманное им одновременно и как предсказание, оказалось, конечно,

ошибочным. История его собственной эпохи показала, что то, что он называл «принципами и устройством свободных правительств», способно и действительно будет совершенствоваться. В других странах западной цивилизации, а затем и в иных частях света XIX век продемонстрировал впечатляющий прогресс политической технологии. Но Адамс мог бы точнее заметить другой процесс — процесс **расхождения**, который я называю **великим расхождением**, между наукой и техникой, с одной стороны, и политическими и общественными институтами — с другой.

Чтобы понять нашу проблему, надо прежде всего признать: **прогресс не един и не монолитен**. Интересный и насыщенный вопрос состоит не в том, что человечество якобы развивается в науке, но не развивается в политических институтах. Он возникает потому, что различные формы прогресса идут **разными путями**.

Научный прогресс и технические новшества одинаково сопровождалась всё большей готовностью принимать парадокс. Английское слово *paradox*, разумеется, происходит от греческих *para* — «за пределами» и *doxa* — «общепринятое мнение». Первобытному сознанию, например, должно было казаться невозможным пересечь реку и не промокнуть. Потом человек обнаружил, что, воспользовавшись плавающим предметом или построив мост, можно перейти реку и остаться сухим. Этот простейший парадокс служит моделью для многих — если не для большинства — великих прорывов научного и технического мышления.

У парадокса, таким образом, две стороны. Во-первых, это утверждение, которое кажется противоречивым и всё же может оказаться истинным. Во-вторых, оно противоречит общепринятому мнению. Наше овладение физическим миром стало возможным именно благодаря растущей готовности

принимать парадоксы. Можно ли назвать хоть один значительный шаг науки, который в момент своего появления не обладал бы этими двумя парадоксальными чертами? Это помогает понять, почему величайшим первооткрывателям было так трудно добиться признания своих идей и почему столь часто они становились жертвами почтенных авторитетов своего времени.

Изобретатели сталкивались с теми же трудностями — и чем радикальнее и новее было их изобретение, тем сильнее сопротивление. Народное отвращение к парадоксу проявлялось в технике ничуть не слабее, чем в науке. Когда Томас А. Эдисон описал электрический генератор и новую систему распределения тока, необходимую для работы его электрического освещения, один крупный учёный заявил, что общество постигнет несчастье, если мистер Эдисон растратит свой великий талант на подобные ребячества. Самой нелепой частью системы сочли предложение запускать электродвигатели от той же сети, что питала электрические лампы.

Почти за три столетия до этого Галилей, как мы уже видели, встретился с аналогичными возражениями против своего «прибора для рассматривания далёкого». Некоторые выдающиеся современники просто отказались заглядывать в его телескоп. Другие настаивали: допустим, на Земле прибор работает, но стоит направить его в небо — и он наверняка начинает обманывать наблюдателя. Другое эпохальное открытие Галилея — после легендарных опытов со сбрасыванием предметов с Пизанской башни, — состояло в том, что скорость падения тел не пропорциональна их весу; разумеется, и это было парадоксом. Телескоп открыл целый мир парадоксов. Оказалось, что в небесах существует множество вещей, которых мы не можем увидеть невооружённым глазом. Но если Бог не дал нам возможности видеть их самим —

действительно ли Он хотел, чтобы мы их видели? Возможно ли, что небесные тела вовсе не таковы, какими кажутся, что Млечный Путь на самом деле состоит из бесчисленного множества отдельных звёзд — и так далее?

Микроскоп, разумеется, открыл ещё один парадоксальный мир — мир невидимых вещей. Потребовались столетия, прежде чем здоровое убеждение в самозарождении жизни уступило всеобщему признанию существования мельчайших организмов, которых большинство из нас никогда не видело и, вероятно, никогда не увидит.

Но самые вызывающе парадоксальные достижения современной науки принадлежат, конечно, атомной физике. Нам, неспециалистам, трудно поверить, что всякий твёрдый предмет вокруг нас — включая бумагу, на которой напечатаны эти слова, — вовсе не является по-настоящему твёрдым, а состоит из бесчисленных созвездий атомов, каждый из которых по большей части представляет собой пустое пространство с непрерывно движущимися частицами. Это наш вариант научной революции XV–XVII веков, которая заставила саму Землю двигаться вокруг Солнца и побудила Джона Донна оплакать мир, где «вся связь распалась».

С самого начала продвижение цивилизации зависело от готовности принять парадокс. Развитие средств общения, изобретение письменности, позволившей заключить звуки в камень, глину, кожу животного или папирус, одновременно дало возможность слышать слова людей, находящихся далеко за пределами слышимости, — и даже слова умерших. Современные средства связи лишь усложняют эти парадоксы: теперь звуки и движущиеся изображения пересекают океаны и континенты по проводам или вовсе без проводов, проходят сквозь стены, входят в движущиеся машины и выходят из них. Развитие транспорта тоже отмечено парадоксами: повозка движется без быка или

лошади; аппарат тяжелее воздуха летит по воздуху. Всё это очевидно.

Нельзя отрицать: наука и техника дают нам плоды парадокса. Развитое индустриальное общество ежедневно приносит эти плоды прямо в нашу жизнь. Возможно, мы, неспециалисты, так мало ими озадачены потому, что, как заметил Макс Фриш, технология — это «искусство устроить мир так, чтобы нам не приходилось его переживать». Прогресс цивилизации притупляет наше чувство парадокса. Мы утрачиваем способность удивляться. Нас всё меньше поражают необычное и незнакомое. Мы реже восклицаем — и становимся менее поэтичными.

Но на этом дело не заканчивается. В то самое время, когда достижения науки и техники наполняют наше сознание парадоксами, на Западе нас окружает другое мощное современное движение — **торжество здравого смысла**. Отсюда возникает тревожная социальная шизофрения современности. Греческие философы во главе с Аристотелем выработали техническое, психологическое понятие «общего чувства». Для Аристотеля оно представляло собой нечто вроде мысленного коммутатора — человеческой способности сводить сообщения различных органов чувств в единство общего восприятия. Это было некое главное чувство, общая связь пяти чувств, где они объединялись в одно сознание.

В последние столетия такое значение постепенно исчезло. Вместо него — параллельно с подъёмом либерализма, представительного правления и общественного мнения — английское выражение *common sense* приобрело новый, гораздо более разговорный смысл. Оно стало одним из самых употребительных выражений общественной и политической полемики.

Сегодня у «здравого смысла» есть две стороны, и обе прямо противоположны свойствам парадокса. Во-первых, это здоровое практическое суждение, не требующее специальных знаний, — вердикт обычного природного ума. В Америке есть домашний эквивалент — *horse sense*, «простая житейская сметка». Во-вторых, «здравый смысл» означает также господствующее мнение — мнение большинства. Здесь слышится отголосок средневекового *communis sensus*: чувства общей человечности, солидарности, присущей большинству людей.

Эти два значения — природная рассудительность и мнение большинства — со временем всё теснее переплелись и стали почти неразделимы. На западной политической сцене «здравый смысл» впервые громко заявил о себе в американском оправдании Американской революции. Когда утверждали, что Декларация независимости 1776 года не содержит ни одной новой идеи, её автор Томас Джефферсон этого не отрицал. Напротив, он говорил, что задача документа состояла вовсе не в открытии новых принципов и аргументов, о которых прежде никто не думал, и не просто в том, чтобы сказать то, чего ещё никто не говорил, а, по его словам, **«представить человечеству здравый смысл предмета»**.

Именно это выражение — *Common Sense*, «Здравый смысл», — Томас Пейн в том же году сделал названием своего знаменитого памфлета в защиту Американской революции. Его цель, разумеется, состояла в том, чтобы убедить всех, внушив: американское дело — это именно то, во что все уже верят и во что невозможно не верить. Это просто «здравый смысл». Но, употребляя это выражение, Пейн немного опережал события. Подписать памфлет своим именем он не решился. Его друг доктор Бенджамин Раш, преуспевающий врач и один из пионеров психиатрии, убедил Пейна написать его именно потому, что опасался: собственная медицинская практика Раша

может пострадать, если общество узнает о его связи с идеями, которые ещё не вполне стали «здравым смыслом».

С XVII века либеральные институты и представительное правление прославлялись как средства, позволяющие обычному человеческому здравому смыслу всё сильнее противостоять тайнам священников и сакральности королевской власти. Джефферсон считал революцию, сделавшую возможными Соединённые Штаты Америки, лишь очередным этапом неизбежного наступления понятных, публично оправдываемых и принимаемых большинством государственных институтов — иначе говоря, **правления здравого смысла**.

Современная политическая технология сделала здравый смысл большинства более внятным, определённым и могущественным. Этому способствовали распространение грамотности и государственного образования, ежедневных газет и скоростных печатных машин, появление тайного голосования, расширение избирательного права, развитие маркетинговых исследований и опросов общественного мнения, возникновение целой новой науки — псефологии, изучающей выборы; затем так называемые законы об открытости в Вашингтоне, предоставившие обществу доступ к государственным документам и возможность судить чиновников мерками здравого смысла, требования к государственным служащим раскрывать сведения об этических и финансовых интересах, наконец, радио и телевидение. Всё это сделало деятельность государственных должностных лиц более публичной и гораздо сильнее подчинило её отчёту перед общественным здравым смыслом.

Демагогов — тех самых шекспировских «великих людей, которые льстили народу, никогда его не любя», — становилось всё труднее распознавать по мере того, как популярность и прямое обращение к общественным чувствам превращались в

главный путь к политической власти. Но чем сильнее возрастает в политике власть «общественного мнения» — современного демократического имени здравого смысла, — тем шире становится разрыв между политической жизнью и парадоксальным миром науки и техники.

Мы, публика, всё с большим удовольствием и роскошью пользуемся повседневными чудесами науки и техники, которых сами не понимаем, — и одновременно требуем всё туже затягивать узду здравого смысла на политической власти. Каковы последствия этого расхождения в наших способах мыслить?

Исторически, как мы уже видели, здравый смысл — принятое мнение большинства — всегда был непосредственным врагом и громким противником великих научных открытий. Когда английский издатель Джон Мюррей отправил рукопись дарвиновского *Происхождения видов* преподобному Уитуэллу Элвину, уважаемому редактору престижного *Quarterly Review*, тот посоветовал книгу не печатать. Тема, сказал он, слишком спорная. Хорошо чувствующавший настроение времени Элвин предложил Дарвину вместо этого написать книгу о голубях: ходили слухи, что у него имеются по этому предмету чрезвычайно интересные мысли. «Голубями интересуются все, — писал он в заключении, вошедшем в анналы издательского дела. — Книгу отрецензирует каждый журнал королевства, и вскоре она будет лежать на столе в каждой библиотеке». К счастью, Дарвин не послушался. Мы уже говорили об опасности требовать от техники предварительных гарантий, которых она дать не способна и которых, по-видимому, желал преподобный Элвин, — об опасности забывать, что **невозможность невозможно доказать**.

Но сегодня мы не лучше, чем прежде, умеем предсказывать направление развития науки и техники. Самые важные

новшества всегда будут непредсказуемыми — вроде открытия, что то, что считалось по определению неразрушимым, не только можно разрушить, но оно ещё и способно взорваться. И всё же чем сильнее здравый смысл господствует над нашими политическими институтами, тем настойчивее он требует именно таких невозможных гарантий. Диктатура здравого смысла требует страховки от неожиданного как платы за общественную поддержку и как выкупа за то, чтобы новое не было запрещено законом. Сегодня более чем когда-либо мы можем быть благодарны тому, что прогресс не монолитен, что существуют разные способы и области мышления, разные институты — каждый со своими законами или со своим отсутствием законов.

Силы здравого смысла в народном правлении естественным образом склонны сопротивляться силам парадокса. Наш запас парадоксов — другое название сокровищницы научного знания — имеет свойство накапливаться. Мудрость большинства, напротив, самодовольный догматизм здравого смысла, будучи не ресурсом, а всего лишь установкой сознания, не накапливается. Мудрость большинства ничего не складывает — разве что возрастающее высокомерие возрастающей власти.

В наши дни большинство, вооружённое здравым смыслом, — через опросы общественного мнения и избирательную урну — следит за решениями правительства и фактически получает право вето на решения, которые мало кто из этого большинства способен понять. Машины войны, одни названия которых остаются для граждан загадкой, становятся всё менее постижимыми именно тогда, когда расходы на оборону занимают всё большую долю национального бюджета. Между тем прогресс, от которого зависят и уровень нашей жизни, и само национальное выживание, требует непопулярной

готовности терпеть и поощрять непонятные предприятия науки и техники — от ядерной энергетики до генной инженерии.

И этот разрыв продолжает расти.

Возможно, окончательное испытание нашей демократии будет состоять в том, **сумеем ли мы позволить парадоксу двигать вперёд науку, продолжая в общественной жизни склоняться перед здравым смыслом.**

6. ЛИЧНОЕ ПОСЛЕСЛОВИЕ

Мой отец, адвокат Сэм Бурстин

Я никогда не встречал человека, похожего на моего отца. Впрочем, по-настоящему я и самого отца, пожалуй, никогда не знал. У него не было ни одного порока — зато была сотня маленьких странностей. Он был «преданным» мужем в браке, который трудно было назвать счастливым. Он до неловкости гордился мной: останавливал знакомых тулсцев прямо на улице, чтобы показать им газетную вырезку о каком-нибудь моём скромном университетском успехе, а мои письма домой размножал на термофаксе и раздавал случайным знакомым. И всё же ни разу в жизни он не похвалил меня в лицо.

Когда я получил стипендию Родса и должен был после Гарварда отправиться в Оксфорд, отец не сказал об этом ни слова. Зато заметил, что соседскому мальчику тоже дали стипендию — правда, всего лишь для поступления из Центральной школы Талсы в Университет Оклахомы.

Моя мать была замечательной хозяйкой — не в смысле высокой кухни, а в старой русско-еврейской традиции. Она могла провести на кухне полдня, добиваясь, чтобы чизкейк или блинчики вышли именно такими, как надо. И вот отец возвращался из конторы — неизменно позже, чем обещал, — садился за стол и почти непременно объявлял, что «с таким же удовольствием съел бы тюк сена... Человек должен есть, чтобы жить, а не жить, чтобы есть».

Однако ни у кого не возникало сомнений, кто в доме настоящий хозяин. Правила мать, и её почти племенное чувство семьи определяло всю нашу общественную жизнь.

Большую часть времени в Талсе мы жили в двухэтажном доме на две семьи. Внизу — сестра матери Кейт с мужем и

дочерью. Единственной подругой матери была эта сестра. Отец же дружил со всеми. Свободные часы он проводил сначала в вестибюле Tulsa Hotel, позднее — Mayo Hotel: болтал со знакомыми и незнакомцами или просто читал газету, втайне надеясь, что кто-нибудь — приятель или совершенно посторонний человек — отвлечёт его разговором.

Мать с подозрением относилась ко всякому, кто не состоял с ней в кровном родстве, — особенно к жёнам собственных братьев. Отец же, и не без оснований, больше всего подозревал именно кровную родню.

Кроме двух или трёх случаев, когда к нам на обед приглашали местного торговца — самого ценного отцовского клиента, — я не помню, чтобы в нашем доме хоть раз бывали посторонние гости или чтобы мы сами ходили в гости к кому-нибудь из жителей Талсы.

Вся наша жизнь — даже сам переезд в Талсу — словно подчинялась семье матери.

Мне всегда было непонятно, как два настолько не подходивших друг другу человека вообще могли пожениться. В семье это объясняли легендарной историей их знакомства. А за нею скрывалась другая история — о последних годах независимой жизни моего отца в Атланте.

Отец всю жизнь говорил мягко, нараспев, с тёплым джорджийским акцентом.

Его отец был одним из множества евреев, которые в конце 1880-х годов покидали российскую черту оседлости, спасаясь от погромов, воинской повинности и преследований. Бенджамин Бурстин приехал в Америку один и по какой-то так и не объяснённой причине поселился в Монро, штат Джорджия.

Примерно тогда же приехал его брат. Но иммиграционный чиновник записал его фамилию как **Boorstein**, и с тех пор она так и осталась. В Монро братья держали лавки на

противоположных сторонах улицы, а различие в написании фамилий постоянно напоминало о том, как недавно они появились в Америке.

Бенджамин Бурстин выписал жену, и она приехала к нему с младенцем Сэмом — моим будущим отцом.

Сэм учился в школе в Монро, а в свободное время подрабатывал в универсальном магазине. На маленьких пачках сигаретного табака, которыми он торговал, были наклеены премиальные купоны. Он собирал их, накопил целую стопку, отослал и получил взамен одну из первых примитивных пластиночных фотокамер.

Эта камера изменила его жизнь.

Именно благодаря ей он оплатил себе учёбу в колледже.

Приехав в Атенс, где находился университет штата Джорджия, отец почти сразу сумел попасть в кабинет президента университета. Он показал ему фотографии потрескавшихся стен и облупившихся потолков университетских аудиторий.

Такие фотографии, объяснил он, смогут убедить законодательное собрание штата выделить деньги на ремонт и строительство новых корпусов.

После этого отец предложил учредить совершенно новую должность — университетского фотографа — и тут же получил её.

Так он и зарабатывал себе на образование: помогал президенту университета добиваться дополнительных ассигнований и фотографировал студенческие группы.

В те времена право изучали ещё на первой университетской ступени. Когда Сэм Бурстин получил степень бакалавра права, ему не исполнился двадцать один год.

Явившись к судье для допуска к адвокатской практике, он столкнулся с возражением: слишком молод.

И тогда выиграл своё первое дело — убедил судью всё-таки допустить его к практике.

Так он стал самым молодым адвокатом Джорджии.

В Атланте отец поступил младшим сотрудником в одну из старейших и самых престижных юридических фирм. В свободное время он вступал во все братские общества, которые соглашались его принять: «Лоси», «Чудаки», «Красные люди», масоны.

У меня до сих пор хранится прекрасный золотой Hamilton с масонской эмблемой на задней крышке — часы подарили отцу, когда он стал самым молодым в Соединённых Штатах Досточтимым мастером масонской ложи.

Заодно он понемногу пробовал себя в демократической политике Джорджии. Продвигаться стало легче, когда губернатор Джон Маршалл Слейтон пригласил его своим личным секретарём.

Одним из достоинств Сэма Бурстина — помимо обаяния и необычайной общительности — был красивый почерк. Он даже посещал специальную школу чистописания и выработал округлую, роскошную манеру письма с эффектными росчерками.

Его размашистая подпись стала одной из первых отцовских привычек, которую я пытался перенять.

Безуспешно.

Вполне возможно, отец сделал бы политическую карьеру в Джорджии, несмотря на то что был евреем. Но этому помешали события вокруг печально знаменитого дела Лео Франка.

В 1913 году Лео Франка, невинного владельца карандашной фабрики, фактически отправили под суд по сфабрикованному обвинению в изнасиловании и убийстве одной из работниц. Процесс проходил в атмосфере истерии и

вызвал, пожалуй, самый отвратительный всплеск расизма и антисемитизма, какой когда-либо знала Джорджия.

Дело превратилось в газетную сенсацию.

Мой отец, тогда ещё один из самых молодых адвокатов в городе, помогал защите на месте, работая вместе с несколькими известными юристами, приехавшими с Восточного побережья, в том числе с выдающимся Луисом Маршаллом.

Когда Франка — что никого особенно не удивило — признали виновным, именно моему отцу выпала горькая обязанность сообщить об этом его жене.

В 1915 году мужественный губернатор Слейтон заменил смертную казнь пожизненным заключением. Но вскоре разъярённая толпа похитила Франка из тюрьмы и линчевала его.

Палачи дошли до того, что с гордостью сфотографировались рядом с висящим телом невинного человека.

После этого Атланту захлестнул один из самых страшных антиеврейских погромов, когда-либо случавшихся в американском городе, — зловещее напоминание о той России, откуда когда-то бежали братья Бурстин и Бурстайн.

Братья моей матери тогда держали в Атланте магазин мужской одежды. После дела Франка его витрины, как и витрины других еврейских магазинов, были разбиты.

Для молодого еврейского адвоката, мечтавшего о политике, будущее в Джорджии выглядело теперь не слишком многообещающим.

Тем временем ещё в 1912 году отец при обстоятельствах, ставших семейной легендой, женился на моей матери.

Она приехала из Нью-Йорка навестить братьев в Атланте. Красивый и многообещающий Сэм Бурстин начал ухаживать за привлекательной Дорой Олсан — девушкой «с Востока».

В светской хронике *Atlanta Constitution* появилась фотография хорошенькой гостьи и сообщение об устроенном в её честь обеде в отеле.

На обеде присутствовал губернатор Слейтон.

В конце вечера он встал, поднял бокал и произнёс:

— Сэм Бурстин, если вы не женитесь на этой прекрасной девушке, я позабочусь, чтобы вас лишили адвокатской лицензии.

Сэм женился на Доре.

Дело Франка заставило троих братьев моей матери, а вместе с ними моего отца и мужа её сестры покинуть Атланту.

Они отправились в Талсу — тогда её название ещё произносили примерно как *Талси* — в штате Оклахома. Это был пограничный город на территории, которая всего девять лет назад ещё называлась Индейской территорией и была отведена так называемым Пяти цивилизованным племенам.

В 1916 году в Талсе почти не было мощёных улиц, а тротуаров с твёрдым покрытием — и того меньше.

Трое моих дядей открыли банк. Мужья двух сестёр последовали за ними; муж Кейт тоже поступил в этот банк.

Отец открыл адвокатскую контору, тем самым слегка отделившись от семейного клана, и вскоре превратился в одного из самых неутомимых пропагандистов Талсы.

Поселившись в Талсе — городе, который мать возненавидела с первого дня и не разлюбила ненавидеть до конца жизни, — отец практически перестал брать отпуск.

Иногда он ездил куда-нибудь по делам, однажды даже приехал навестить меня в Англии, когда я учился в Оксфорде.

Но сам он считал Талсу вполне подходящим местом для жизни круглый год.

Мать же — обычно вместе с сестрой — исчезала из города при первых признаках летней жары, отправляясь в Атлантик-Сити или на какой-нибудь другой курорт.

Мне и теперь трудно понять — а тем более объяснить — любовный роман моего отца с Талсой.

Он действительно считал — или, во всяком случае, неизменно утверждал, — что это лучшее место на земле.

На деле Талса представляла собой пограничный посёлок, каким-то чудом одетый в архитектуру и привычки 1920-х годов.

Вокруг на сотни миль тянулись бесконечные прерии, и строить здесь небоскрёбы не было решительно никакой необходимости.

Но Талса всё равно построила Philtower, Philcade и здание Exchange National Bank — и все они бросали двадцатидвухэтажные тени на голую равнину.

С культурой дела обстояли скромнее.

Была библиотека Карнеги, раз в год приезжала труппа Метрополитен-опера — её гастроли щедро спонсировали лучшие магазины готовой женской одежды — и существовал Kendall College, баптистская миссионерская школа, куда ни один состоятельный горожанин не отдавал собственных детей.

Отец с восторгом разделял почти маниакальный оптимизм, связанный с будущим Талсы, которая вскоре гордо провозгласила себя **Нефтяной столицей мира**.

Для выросших в Талсе нефть была почти материнским молоком.

Дух азарта заразил и моих дядей: они играли на нефти, выигрывали и проигрывали состояния.

Будет следующая скважина фонтанирующей — или окажется сухой?

Удастся ли открыть новое нефтяное месторождение на земле того или иного фермера?

Это был язык взрослых, который я слышал чаще всего.

Но, проповедуя величие Талсы, отец никогда не превратился в нефтяного игрока.

Вместо этого он стал представителем почти исчезнувшего ныне типа адвокатов — одиночкой широкого профиля.

Партнёров у него никогда не было — мать этого не потерпела бы. Зато через его контору прошла целая вереница молодых выпускников юридических школ, которых отец обучал старым способом — словно мастеров-подмастерьев.

Они его обожали.

И работать с ним было мучительно.

Многие впоследствии становились окружными прокурорами и судьями или создавали процветающие юридические фирмы, значительно превзошедшие контору самого наставника.

У отца был свой способ делать всё.

Именно свой.

Как пользоваться указателем.

Как держать ручку.

Как разговаривать с клиентом.

Каждый молодой адвокат выдерживал несколько лет, а затем уходил дальше — гораздо лучше разбираясь и в праве, и в адвокатской практике, но испытывая явное облегчение оттого, что теперь ему уже никто не объясняет, как именно надо делать каждую мелочь.

Я сам не раз страдал от отцовской убеждённости, что существует лишь один правильный способ — его способ.

Даже после того как я много лет брился самостоятельно, отец продолжал наставлять меня, что бритвой следует вести против роста волос, потому что «только так можно выбриться по-настоящему гладко».

Его уроки гольфа, преподносимые с самой искренней отеческой заботой, заставили меня возненавидеть эту игру.

С тех пор я ни разу не приближался к полю для гольфа.

Отец был бы счастлив увидеть у входа в свою контору вывеску:

СЭМЮЭЛ А. БУРСТИН И СЫН

И именно поэтому страстно надеялся, что я поступлю в Университет Оклахомы.

К счастью, мать была убеждена, что для меня годится «только самое лучшее» и что я непременно должен «ехать на Восток», в Гарвард.

Это меня и спасло.

И всё же адвокатская практика моего отца была образцом для тех, кто считает юриспруденцию прежде всего общественным служением.

Большие деньги крутились в нефтяном бизнесе, и корпоративными делами нефтяных компаний он тоже занимался.

Но больше всего любил и чаще всего вспоминал свою обычную, «общую» практику.

Она скорее напоминала работу деревенского священника, чем городского адвоката.

Особенно гордился он одним случаем, когда ему удалось уберечь от беды несчастную молодую женщину.

Её мать хотела немедленно добиться аннулирования скоропалительного брака дочери. Отец убедил её подождать несколько месяцев — и тем самым обеспечить законный статус и материальное содержание ребёнка, появление которого он благоразумно заподозрил.

Мать и дочь горячо уверяли его, что «ничего не было».

Подобных историй было бесчисленное множество.

Сколько раз ему удавалось убедить разгневанных супругов не разводиться!

А однажды он добился оправдания клиента, обвинённого в убийстве после того, как тот застрелил торгового конкурента прямо на Мейн-стрит.

Как видный демократ, отец, естественно, оказался идеальным главным юрисконсультom *Tulsa Tribune* — откровенно правой республиканской ежедневной газеты.

Он защищал *Tribune* во множестве дел о клевете и, несмотря на порой весьма вызывающий тон самой газеты, не проиграл для неё ни одного процесса.

Богатым адвокатская практика его так и не сделала.

Зато однажды ему необыкновенно повезло.

Представитель «Амторга» — советского нефтяного объединения — приехал в Талсу знакомиться с технологией нефтяных скважин, попал под грузовик и несколько недель провёл в местной больнице.

Отец взялся за его дело и добился одной из крупнейших на тот момент в истории Талсы компенсаций за причинение телесных повреждений.

Пострадавшему присудили около семидесяти пяти тысяч долларов.

Это было самое крупное дело отца за всю жизнь — и почему-то именно благодаря ему в детстве у меня возникло тёплое отношение к Советскому Союзу.

Но семейная сторона этой истории была менее безоблачной.

Не думаю, что отец когда-нибудь признался матери, какой гонорар получил.

Зато я прекрасно помню вопрос, который она повторяла годами:

— Куда всё-таки делись эти Капалушниковы деньги?

Контора отца сама по себе была кусочком старой Америки.

Почётное место занимал рисунок тушью: мифический судья, олицетворявший Величие Закона. Отец когда-то увидел понравившуюся картинку и заставил меня аккуратно её перерисовать.

Рядом висела фотография судей священного для него Верховного суда Соединённых Штатов.

Стены и пространство под стеклом письменного стола были заполнены девизами, назидательными афоризмами и стихотворными строками.

Самым трогательным — и теперь уже, пожалуй, самым безнадежно устаревшим — был совет времён, когда ещё подавали иски за нарушение обещания жениться:

**«Поступай правильно и не бойся ни одного мужчины;
не пиши лишнего — и не будешь бояться ни одной
женщины».**

Висело несколько стихотворений Эдгара Геста и роскошно отпечатанный в издательстве Элберта Хаббарда кипплинговский «Если...».

Был и другой девиз:

**«Когда Великий Судья внесёт твоё имя в книгу, Он
отметит не то, победил ты или проиграл, а то, как ты
играл».**

Из современной литературы отец больше всего любил эссе Элберта Хаббарда *Послание Гарсии*.

Мне до сих пор кажется, что более бескорыстного человека, чем мой отец, я не встречал.

Он брался за дела потому, что считал, будто может кому-то помочь.

Никогда не торопил клиентов с оплатой и соглашался защищать людей, даже не задумываясь, смогут ли они когда-нибудь расплатиться.

Мать, разумеется, приходила от этого в ярость.

Отец обожал дарить подарки и совершенно не задумывался об их цене.

Ему особенно нравились кожаные адресные книжки со сменными листами. Он был убеждён — более того, настаивал, — что именно такими книжками должен пользоваться каждый приличный человек.

Когда в городской лекторий приезжала какая-нибудь знаменитость, отец после выступления посылал ей такую книжку и пытался завязать переписку.

Каждая стоила больше десяти долларов, а вместе набегала приличная сумма.

Зато благодарственные письма знаменитостей он хранил как сокровища: клеивал в специальный альбом и с гордостью показывал посетителям конторы.

Адвокатская работа требовала много читать, и отец собрал в конторе обширную юридическую библиотеку.

Другим адвокатам — особенно молодым, только начинавшим карьеру, — он разрешал пользоваться ею совершенно свободно.

Вероятно, это была одна из лучших и наиболее современных юридических библиотек во всей Талсе.

Зато вне права его чтение отличалось почти патологической узостью.

Если какая-нибудь книга ему нравилась, она немедленно приобретала статус Священного Писания.

Одна биография Иуды П. Бенджамина — первого открыто исповедовавшего иудаизм сенатора США, занимавшего высокие должности в Конфедерации, а после Гражданской войны эмигрировавшего в Англию и сделавшего там блестящую адвокатскую карьеру, — совершенно завладела его воображением.

Какой бы вопрос истории или литературы ни возникал, отец непременно ссылался на эту книгу и убеждал меня читать и перечитывать её.

Он был одним из первых энтузиастов самоклеящихся этикеток с именем и скотча.

Этикетки появлялись на всём: на книгах, клюшках для гольфа, шляпах, теннисных ракетках.

Он совершенно не понимал, почему мне нравятся книги без наклеек и пометок.

Это было лишь одним проявлением его любви к всевозможным приспособлениям и восторженной веры в то, что новый способ делать что-либо непременно лучше старого.

К этой категории относились и слабительные средства, и новомодные электрические пояса, и тренажёры, обещавшие исцелить от всех болезней.

Будучи неисправимым оптимистом, отец становился лёгкой добычей коммивояжёров, торговавших книгами по подписке — многотомными собраниями, нередко переплетёнными в «искусственную кожу».

Я особенно хорошо помню целые нетронутые — и почти никогда не открывавшиеся — комплекты за стеклянными дверцами книжного шкафа в нашей гостиной: *Сочинения Теодора Рузвельта*, *Великие речи мира*, *Светочи истории*, речи и сочинения знаменитого атеиста Роберта Г. Ингерсолла.

Восхищение Ингерсоллом несколько не мешало отцу открыто считать себя евреем.

Мы одновременно состояли во всех трёх еврейских общинах Талсы: бедной ортодоксальной синагоге на северной стороне города и двух более состоятельных — ортодоксальной и реформистской — на южной.

Отец активно участвовал в работе Антидиффамационной лиги и различных межрелигиозных организаций.

Но я не могу припомнить, чтобы когда-нибудь видел его на богослужении.

Совсем другим человеком был мой дед по матери, который много лет жил вместе с нами.

Он неукоснительно соблюдал ортодоксальные предписания.

Джейкоб Олсан каждый день ходил в синагогу, не работал по субботам, и именно из-за него наша кухня оставалась кошерной, а для Песаха держали отдельную посуду.

Положение евреев в Талсе было довольно странным.

Город являлся одним из оплотов Ку-клукс-клана, ответственного за уничтожение чёрных кварталов во время одного из самых страшных расовых погромов 1920-х годов.

К евреям Талсы клановцы тоже относились без всякой симпатии.

Но евреи почему-то почти не обращали внимания на их насмешки.

Отец и его друзья-евреи смотрели на клановцев свысока — как на сборище деревенщины.

Не знаю, насколько жизнь в Талсе сформировала отца.

Но если он действительно был человеком без пороков — не курил, не пил и, насколько мне известно, никогда не изменял жене, — то и в своих суждениях он обладал раздражающей терпимостью.

Мне никогда не удавалось заставить его высказать о ком-нибудь действительно дурное или немилосердное мнение — даже о фанатиках Ку-клукс-клана или набравших силу нацистах.

Он неизменно пытался понять, почему люди поступают именно так.

В нём как будто воплощался один из парадоксов Америки: иммигранты, постоянно двигавшиеся на Запад, постепенно стирали острые края собственных убеждений.

Запад спасал одних от фанатизма — и одновременно давал фанатизму благодатную почву.

Но больше всего мне запомнился заразительный восторг моего отца перед всем новым, что рождала американская жизнь, и перед ещё не написанным, безоблачным будущим.

17 СТРАНА НЕОЖИДАННОСТЕЙ

Европа лежала в смятении. Столетие оказалось отмечено двумя кровавыми мировыми войнами и невиданными прежде геноцидами — шестью миллионами жертв нацистской Германии и тридцатью миллионами жертв сталинского Советского Союза.

Как после этого можно с надеждой говорить о будущем Америки?

Один ответ для меня сугубо личный.

Я вырос в Талсе, штат Оклахома, и в 1920-е годы учился там в обычной государственной школе.

Талса тогда называла себя **Нефтяной столицей мира**.

Но, пожалуй, с тем же правом она могла называться **столицей мирового оптимизма**.

Всего за десять лет до того, как моя семья приехала в Оклахому, бывшая Индейская территория вошла в Союз сорок шестым штатом.

Город жил саморекламой и гордостью за собственное развитие.

К моменту, когда я окончил Центральную школу, в нём выходили две ежедневные газеты, стояли три небоскрёба, имелись дома, спроектированные Фрэнком Ллойдом Райтом, а городской системой государственных школ руководил бывший федеральный комиссар США по вопросам образования.

Клубы Kiwanis и Rotary и Торговая палата яростно соревновались в проектах благоустройства.

На уроках английского языка мы учили наизусть и декламировали патриотические речи — от знаменитого «Дайте мне свободу или дайте мне смерть!» Патрика Генри и Геттисбергской речи Линкольна до «Нового Юга» Генри Грейди и «Слова в защиту Дрейфуса» Эмиля Золя.

Мы писали речи о достоинствах федеральной Конституции для общенационального конкурса, финал которого проходил в Вашингтоне перед зданием Верховного суда.

Разумеется, существовала и тёмная сторона: беспощадная расовая сегрегация, жестокие расовые столкновения 1920-х годов, Ку-клукс-клан.

Но в моей собственной жизни всё это почти не присутствовало.

Город рос на глазах.

С гордостью построил роскошный железнодорожный вокзал, университет, изящную публичную библиотеку и ратушу.

Позднее появились художественные музеи национального значения.

Мой отец был одним из самых восторженных проповедников будущего Талсы, и бурно развивающийся город словно подтверждал его безудержный оптимизм.

Я поневоле проникся симпатией к одному газетчику с американского пограничья, которого упрекали в том, что он выдаёт за факты мифические чудеса своего ещё только строившегося посёлка — великолепный отель, которого пока не существовало, и процветающую Мейн-стрит, ещё не успевшую появиться.

В Америке, отвечал он, несправедливо обвинять местных энтузиастов в чрезмерно радужных описаниях лишь потому, что описанные ими события **«ещё не успели соблюсти формальность и произойти»**.

Пожалуй, я так никогда и не излечился от этого специфически американского, оклахомского оптимизма — въевшегося в кровь и, как мне казалось, подтверждённого самой историей Талсы.

Но есть и другой ответ.

Он заключён в истории Америки.

Самые вдохновляющие черты нашей истории и культуры традиционно выражались понятием **американской исключительности**.

Слово длинное, а смысл прост: вера в то, что Соединённые Штаты — особое место, в некоторых важнейших отношениях не похожее ни на какое другое.

Эта двойственность прекрасно выражена в здании нашего Капитолия в Вашингтоне.

Его купол своей изящной классической формой говорит о европейском наследии.

Но держится этот купол благодаря триумфу американской инженерной изобретательности — скрытому чугунному каркасу, изготовление которого заодно дало работу американским рабочим.

Американская исключительность — это ещё и космополитический, оптимистический и гуманистический взгляд на историю.

Современный мир может пользоваться европейским наследием, но не обязан быть пленником форм Старого Света или ограничиваться древними представлениями о том, какой должна быть человеческая общность.

А значит, и будущее Соединённых Штатов, и судьба людей, приезжающих сюда, необязательно должны повторять привычные ожидания или страдать от тех же бед, которые веками мучили другие народы.

Почему же мы перестали видеть этот маяк?

Нас соблазнило превращение страны в «сверхдержаву».

Но могущество — категория количественная, тогда как уникальность Соединённых Штатов никогда не сводилась к количеству.

Мы пострадали и от последствий собственной свободы.

Тоталитарные общества преувеличивают свои достоинства.

Свободные общества вроде нашего, напротив, почему-то испытывают непреодолимое искушение преувеличивать собственные пороки.

Негативизм американской прессы и телевидения — в конечном счёте свидетельство нашей свободы подвергать себя беспощадному анализу.

И это бесконечно лучше самодовольного шовинизма, который в наше время погубил не одну тоталитарную империю.

Народы Старого Света веками наслаждались героями, окутанными туманом легенды.

Наша страна возникла при ярком свете истории.

Они расширяли золотыми нитями предания о Ромуле и Реме, Жанне д'Арк, Людовике Святом, Ричарде Львиное Сердце.

Наши основатели — Джон Смит, Уильям Брэдфорд, Джон Уинтроп, Бенджамин Франклин, Джордж Вашингтон, Томас Джефферсон — предстают перед нами живыми и очевидно человеческими.

И это полезно: они постоянно напоминают нам, что все человеческие институты созданы людьми.

Но по той же причине отцы-основатели становятся лёгкой добычей журналистской истории.

Джефферсона превращают в распутника.

Линкольна низводят от Великого освободителя до провинциального адвоката.

Достижения недавних президентов тонут под тяжестью телевизионных докудрам об их постельных грешках.

Основатели нашей страны прекрасно понимали исключительность своего положения и искали вдохновения именно в поразительной новизне Америки — в её прошлом, настоящем и будущем.

Ещё до Американской революции Бенджамин Франклин организовал в Филадельфии Американское философское

общество, призванное исследовать непредсказуемые возможности неизвестного континента.

В циркулярном письме 1743 года он очертил открытый круг его интересов:

«Все вновь открытые растения, травы, деревья, корни... Новые способы лечения или предупреждения болезней. Все вновь открытые ископаемые... Новые и полезные усовершенствования в любой отрасли математики; новые открытия в химии... Новые механические изобретения, облегчающие труд... Все новые искусства, ремёсла, производства и прочее... Новые способы улучшения пород полезных животных... Новые усовершенствования в земледелии, садоводстве, расчистке земель и т. д.».

Сам Томас Джефферсон, президент общества и его вдохновенный руководитель с 1796 по 1815 год, верил, что именно здесь счастье человеческого рода сможет наконец возрастать **«до неопределённой, хотя и не бесконечной степени»**.

Мы не должны забывать: для Старого Света Америка была **Неожиданной землёй**.

Но с тех пор она остаётся и **Страной неожиданного**.

Основные особенности культуры Соединённых Штатов — именно те, которые европейские мудрецы, глядя на собственное прошлое, едва ли могли вообразить.

Достаточно посмотреть, что произошло здесь с четырьмя основными элементами культуры: религией, языком, правом и богатством.

Начнём с религии.

К тому времени, когда европейцы приступили к заселению Северной Америки, история формирующихся государств Западной Европы была испещрена пытками и массовыми убийствами во имя веры.

Испанская инквизиция XV века.

Кровавая Варфоломеевская ночь во Франции в 1572 году.

Тридцатилетняя война 1618–1648 годов в Германии — именно в те годы, когда пуритане основывали поселения в Новой Англии, — превратившаяся в общеевропейское столкновение католического и протестантского мира.

Только во время этой войны около десяти процентов населения германских земель было уничтожено во имя религиозной ортодоксии.

Для будущей Америки всё это, казалось, не предвещало ничего хорошего.

Ведь её первые поселенцы-пилигримы были людьми, одержимыми верой. Они покинули Англию, чтобы осуществить свою религиозную мечту.

Именно вера дала им мужество пересечь океан, вынести тяготы незнакомой земли, опасность столкновений с враждебными индейцами и одиночество вдали от родины.

Кто мог предсказать, что Соединённые Штаты, в отличие от стран, откуда прибыли их жители, никогда не переживут религиозной войны?

Что протестанты и католики, веками пытавшие и убивавшие друг друга в Европе, создадут мирно соседствующие общины от Новой Англии до Мэриленда и Виргинии?

Что евреи найдут здесь убежище от гетто и погромов?

Что Соединённые Штаты останутся страной, где огромное число людей регулярно ходит в церковь, — и одновременно отделение церкви от государства станет одним из краеугольных камней общественной жизни?

И кто мог представить, что в XX веке директор государственной школы будет мучительно размышлять, как создать праздничную атмосферу и при этом не оказаться

обвинённым в том, что он отдаёт предпочтение Рождеству, Хануке или Кванзе?

В Европе языки создавали нации.

Испанский, португальский, английский, французский, немецкий и итальянский создали свои литературы ещё до того, как окончательно возникли Испания, Португалия, Англия, Франция, Германия и Италия.

Но Соединённым Штатам предстояло стать первой великой современной страной **без собственного национального языка**.

Уникальность Америки в том, что её создали люди, готовые и способные заимствовать язык.

Как ни странно, именно английский помог сделать нас изначально многонациональной страной, ведь большинство американцев происходит вовсе не из страны Шекспира.

Здесь мы усвоили простую вещь: человек не утрачивает гражданского достоинства оттого, что начинает говорить на языке новой общины.

А сам английский язык оживился и стал американским благодаря бесчисленным заимствованиям из немецкого, итальянского, французского, испанского, идиша, языков американских индейцев и многих других.

И получился удивительный результат: не имея собственного, только Америке принадлежащего национального языка, наша страна создала язык, необычайно выразительно передающий энергию и разнообразие её народа.

Может быть, именно **ломаный английский** и следует считать настоящим американским языком.

На нём лежит печать всей нашей иммигрантской истории.

Сегодня нас порой удивляет зрелище народов — от России до Южной Африки, — которые спорят о том, как, когда и следует ли вообще принимать «конституцию».

Создаётся впечатление, будто они убеждены, что конституцию можно мгновенно произвести на свет голосованием парламента или всенародными выборами.

Насколько же это отличается от англо-американского опыта.

Традиция фундаментального закона — «конституции» — была унаследована нами от Англии и восходит по меньшей мере к XIII веку.

Неписаная английская конституция, возникшая как побочный продукт всей истории народа, была одним из столпов государственной власти и прав граждан.

Кто мог предположить, что эта традиция обретёт письменное трансатлантическое воплощение в спорах пятидесяти пяти делегатов, собравшихся в 1787 году в филадельфийском Индепенденс-холле?

Так Соединённые Штаты были в буквальном смысле **созданы Конституцией**.

И результат вновь оказался неожиданным: к концу XX века наша нация-выскочка жила по самой старой — и, вероятно, самой почитаемой — действующей писаной конституции мира.

Причём выжила она именно благодаря тому, что её можно было — пусть и с большим трудом — изменять.

Но кто мог предвидеть другое противоречие?

Страна, в свидетельстве о рождении которой было написано, что **«все люди созданы равными»**, оказалась одной из последних великих стран Запада, отменивших рабство.

В 1772 году лорд Мэнсфилд в знаменитом деле Сомерсета постановил: раб, ступивший на английскую землю, становится свободным.

В 1834 году рабство было отменено во всей Британской империи.

И всё же понадобилось ещё три десятилетия, прежде чем Прокламация об освобождении рабов Линкольна 1863 года

даровала свободу рабам в мятежных южных штатах, а Тринадцатая поправка к Конституции 1865 года окончательно запретила рабство на всей территории Соединённых Штатов.

Работоторговля после этого сохранялась лишь в отдельных мусульманских государствах и некоторых районах Африки.

Но существует и другая сторона истории.

Наша единственная Гражданская война велась в борьбе за освобождение порабощённого народа.

И этому тоже трудно найти исторический прецедент.

А одним из наследий американского рабства стало ещё одно почти беспрецедентное явление — **нация, мучимая собственной совестью**.

Именно эта совесть побудила нас создать целый ряд новых институтов: законы о «равных возможностях», программы «позитивной дискриминации» и многое другое — как попытку возместить несправедливость прошлого.

Не следует удивляться тому, что русские болезненно подозрительно относятся к иностранцам, приезжающим в их страну.

За их плечами — столетия монгольского владычества, вторжение Наполеона и его «освободительной» армии, сжёгшей Москву, затем нашествие Германии во Второй мировой войне, унёсшее двадцать миллионов жизней.

Неудивительно, что иностранец легко воспринимается там как захватчик или агент захватчика.

Соединённым Штатам повезло избежать такого стереотипа.

Вместо него мы унаследовали другой взгляд на вновь прибывающего — взгляд, преломлённый через опыт наших собственных недавних предков-иммигрантов.

«Чужестранцам здесь рады, — писал Бенджамин Франклин в *Советах тем, кто намерен переселиться в Америку* в 1782 году, —

потому что места хватит всем, и потому прежние жители не испытывают к ним ревности».

Так проходила главная линия нашей истории: новичка встречали как работника, покупателя, строителя общины, будущего согражданина.

И никогда ещё специфически американская идея **нации наций** не была столь очевидной, как сегодня.

Нам постоянно говорят, что Соединённые Штаты — богатая страна.

Но по-настоящему отличает нас не столько богатство, сколько радикально новый способ измерять материальное благополучие общества.

«Богатство», находившееся в центре английской меркантилистской мысли до Американской революции, было понятием статичным.

Считалось, что мировое богатство — прежде всего запасы золота и серебра — представляет собой фиксированную величину: пирог, который можно поделить так или иначе, но нельзя существенно увеличить.

Если Британии доставался более крупный кусок, Франции, Испании или кому-нибудь ещё неизбежно оставался меньший.

Выигрыш одной страны означал проигрыш другой.

Новый Свет изменил сам способ мышления.

Люди приезжали сюда не столько за богатством, сколько за лучшим **образом жизни**.

Америка породила более расплывчатое, но и более широкое представление о материальном мире и размывала границу между материальным и духовным.

Этому способствовали и впечатляющие успехи технологии, осваивавшей ресурсы богатого, малоизученного и слабо заселённого континента.

Поэтому Американская революция была, помимо всего прочего, столкновением старого понятия **Богатства** с новым, рождённым в Новом Свете понятием **Уровня жизни**.

Характерно, что само выражение *standard of living* вошло в американский язык лишь в начале XX века.

Оно едва ли могло родиться в Старом Свете, обременённом наследием феодальных «прав», земельной аристократии, королевских дворов, священных цеховых монополий и родовых кладбищ.

Богатство — то, чем **владеет отдельный человек**.

Уровень жизни — то, чем **сообща пользуются люди**.

Богатство можно тайно копить.

Уровень жизни существует лишь тогда, когда им пользуются открыто.

Это признанный обществом уровень потребления, жилья, услуг, здравоохранения, удобств и образования.

Все эти поразительные превращения культуры Старого Света и составляют американскую исключительность.

Она — полная противоположность изоляционизму, этому «Дракуле американской внешней политики».

«Мы либо благородно спасём, либо низко погубим последнюю и лучшую надежду человечества», — так в разгар Гражданской войны Линкольн выразил мысль об особой миссии Америки в мире.

В последние десятилетия подобные слова всё чаще приходится произносить словно с извинением — будто вера в особое предназначение Америки непременно провинциальна или шовинистична.

Но нашей бывшей колонии в нынешнюю постколониальную эпоху полезно вспомнить слова проницательного французского писателя Андре Мальро, сказанные им во время визита к президенту Кеннеди в Белый дом в 1962 году.

Они и сегодня не потеряли смысла:

«Сегодня Соединённые Штаты — страна, взявшая на себя судьбу человека... Впервые государство стало мировым лидером не путём завоеваний, и странно подумать, что за тысячи лет истории лишь одна страна обрела могущество, стремясь всего лишь к справедливости».

Он мог бы добавить:

«И стремясь к общности».

Поэтому уникальную силу Соединённых Штатов следует понимать не как **силу могущества**, а как **силу примера**.

Ещё одно имя истории.

Печальное зрелище Европы, вновь воюющей сама с собой, словно разыгрывает перед нами мелодраму с теми же призраками этнической, расовой и религиозной ненависти, от которых поколения эмигрантов бежали в Америку.

Сегодня как никогда необходимо выработать противоядие против этих скрытых опасностей.

К счастью, штаты нашей федерации не являются этническими, расовыми или религиозными анклавами.

К счастью, мы остаёмся необычайно подвижным народом.

И нет лучшего лекарства против старых призраков, чем ясное и честное понимание уникальности собственной истории — тех особых возможностей, которые нам достались.

И не было бы большей глупости, чем отказаться пользоваться счастливыми случаями нашей истории.

Но мы должны помнить: та уникальность Америки, о которой говорили Джефферсон и Линкольн, предназначалась не для самовосхваления.

Она была нужна **ради всего человечества**.

Наша Декларация независимости начинает отсчёт от «хода человеческих событий».

А Великая печать Соединённых Штатов, которую и сегодня можно увидеть на долларовой купюре, по-прежнему провозглашает:

NOVUS ORDO SECLORUM — НОВЫЙ ПОРЯДОК ВЕКОВ.

Когда ещё люди возлагали столько надежды на неожиданное?